

Нобелевская премия по литературе 2013 года

Элис Манро

Танец блаженных теней

PREMIUM

Танец блаженных теней (сборник)

Элис Манро

Аннотация
Элис Манро. Танец блаженных теней
Ковбой братьев Уокер
Сияющие дома
Образы
Спасибо, что подбросили
Кабинет
Унция снадобья
Время смерти
День бабочки
Мальчики и девочки
Открытка
Красное платье – 1946
В воскресенье пополудни
Поездка к морю
Утрехтский мир
Танец блаженных теней

Аннотация

Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: подобно русскому писателю, она умеет рассказать историю так, что читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в героях самих себя. Ведь уже в своем дебютном сборнике, «Танец блаженных теней», Манро как по волшебству демонстрировала ординарные жизни в неординарном ракурсе, словно лучом прожектора выхватывая те яркие моменты, когда откровение возникает из-под слоев самого обыденного опыта…

Элис Манро
Танец блаженных теней

© Е. Калявина, перевод, 2014
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Манро – одна из немногих живущих писателей, о ком я думаю, когда говорю, что моя религия – художественная литература… Мой совет, с которого и сам я начал, прост: читайте Манро! Читайте Манро!

Джонатан Франзен

Она пишет так, что невольно веришь каждому ее слову.

Элизабет Страут

Самый ярый из когда-либо прочтенных мною авторов, а также самый внимательный, самый честный и самый проницательный.

Джеффри Евгенидис

Элис Манро перемещает героев во времени так, как это не подвластно ни одному другому писателю.

Джулиан Барнс

Настоящий мастер словесной формы.

Салман Рушди

Изумительный писатель.

Джойс Кэрол Оутс

Когда я впервые прочла ее работы, они показались мне переворотом в литературе, и я до сих пор придерживаюсь такого же мнения.

Джумпа Лахири

Поразительно… Изумительно… Время нисколько не притупило стиль Манро. Напротив, с годами она оттачивает его еще больше.

Франсин Проуз

Она – наш Чехов и переживет большинство своих современников.

Синтия Озик

Она принадлежит к числу мастеров короткой прозы – не только нашего времени, но и всех времен.

The New York Times Book Review

«Виртуозно», «захватывающе», «остро, как алмаз», «поразительно» – все эти эпитеты равно годятся для Элис Манро.

Christian Science Monitor

Как узнать, что находишься во власти искусства, во власти огромного таланта?.. Это искусство говорит само за себя со страниц с рассказами Элис Манро.

The Wall Street Journal

В удивительно откровенных рассказах Манро, пронизанных состраданием к героям, прослеживается мысль: жизнь – это труд, и если мы подходим к этому труду с достаточной решимостью и упорством, то сможем прожить до конца достойно.

San Francisco Chronicle

У Элис Манро памятливый глаз художника. Она владеет почти совершенным пониманием мира ребенка. И у нее невероятное видение канадского пейзажа.

Saturday Night

В книге «Танец блаженных теней» Элис Манро сотворила для нас целый мир, открытый ею в маленьких городках юго-западного Онтарио. Это чудесный сборник рассказов – лирических, зачастую меланхоличных и всегда удивительно самобытных и живых.

CBC

У Манро невероятный дар – она умеет убедить читателя, что ее герои жили полной жизнью до начала рассказа и продолжают жить уже после того, как рассказ закончится… Это просто отличный писатель, который любит свое ремесло.

The Guardian

В этих рассказах, написанных с кажущейся простотой, есть и трагедия, и безысходность, и подростковая любовь, и стремления, которые найдутся на поперечном срезе любого сообщества людей.

The Daily Gleaner

Читать Элис Манро – все равно что пить воду: слова едва замечаешь, только дивишься, что твоя жажда вдруг прошла… За каждой фразой стоит мир, обрисованный зачастую полнее, чем у другого писателя в целом романе.

The Plain Dealer

Элис Манро всегда воспевала неожиданную страсть, которая возникает вроде бы ниоткуда и меняет всю жизнь героя. Манро уже много десятилетий остается одним из наших самых значительных писателей. В ее работе представлены и наиболее важные аспекты литературы, и те, что дарят наибольшее наслаждение, и те, что напоминают нам, как отличить великое литературное произведение: если перед вами именно оно, вы обязательно его узнаете и не ошибетесь.

The Globe and Mail (Toronto)

В хитросплетениях сюжетов Манро не перестает удивлять: банальные бытовые драмы оборачиваются совсем необычными психологическими ситуациями, а типичная ссора приводит к настоящей трагедии. При этом рассказ обрывается столь же неожиданно, как начинался: Манро не делает выводов и не провозглашает мораль, оставляя право судить за читателем.

Известия

Все ее рассказы начинаются с крючочка, с которого слезть невозможно, недочитав до конца. Портреты персонажей полнокровны и убедительны, суждения о человеческой природе незаезженны, язык яркий и простой, а эмоции, напротив, сложны – и тем интереснее все истории, развязку которых угадать практически невозможно.

Комсомольская правда

Все это Манро преподносит так, словно мы заглянули к ней в гости, а она в процессе приготовления кофе рассказала о собственных знакомых, предварительно заглянув к ним в душу.

Российская газета

Банальность катастрофы, кажется, и занимает Манро прежде всего. Но именно признание того, что когда «муж ушел к другой» – это и есть самая настоящая катастрофа, и делает ее прозу такой женской и, чего уж там, великой. Писательница точно так же процеживает жизненные события, оставляя только самое главное, как оттачивает фразы, в которых нет ни единого лишнего слова. И какая она феминистка, если из текста в текст самым главным для ее героинь остаются дети и мужчины.

Афиша

В эти «глубокие скважины», бездну, скрытую в жизни обывателей, и вглядывается Элис Манро. Каждая ее история – еще и сложная психологическая задачка, которая в полном соответствии с литературными взглядами Чехова ставит вопрос, но не отвечает на него. Вопрос все тот же: как такое могло случиться?

Ведомости

Превосходное качество прозы.

РБК Стиль

Но даже о самом страшном Манро говорит спокойно и честно, виртуозно передавая сложные эмоции персонажей в исключительных обстоятельствах скупыми средствами рассказа. И ее сдержанная, будничная интонация контрастирует с сюжетом и уравновешивает его.

Psychologies

Рассказы Манро действительно родственны Чехову, предпочитающему тонкие материи, вытащенные из бесцветной повседневности, эффектным повествовательным жестам. Но… Манро выступает скорее Дэвидом Линчем от литературы, пишущим свое «Шоссе в никуда»: ее поэзия быта щедро сдобрена насилием и эротизмом.

Газета.ру

Американские критики прозвали ее англоязычным Чеховым, чего русскому читателю знать бы и не стоило, чтобы избежать ненужных ожиданий. Действительно, как зачастую делал и Антон Павлович, Элис показывает своих героев в поворотные моменты, когда наиболее полно раскрывается характер или происходит перелом в мировоззрении. На этом очевидные сходства заканчиваются, – во всяком случае, свои истории Манро рассказывает более словоохотливо, фокусируясь на внутреннем мире…

ELLE

Посвящается Роберту Лэйдлоу

Ковбой братьев Уокер

После ужина папа спрашивает:

— Пойдем поглядим, на месте ли Озеро?

Мы оставляем маму под люстрой в столовой шить мне одежду к новому учебному году Для этого она распорола свой старый костюм и старое шерстяное платье из шотландки и теперь должна весьма искусно выкраивать и сметывать куски, при этом заставляя меня, неблагодарную, стоять рядом и поворачиваться для бесчисленных примерок, потеть и чесаться от кусачей жаркой шерсти. Мы оставляем и брата в кроватке за ширмой в конце веранды, и время от времени он становится на коленки и просит горестно, прижимая лицо к стеклу:

— Принесите мне мороженого…

— А ты будешь спать, — отвечаю я, не повернув головы.

Потом мы с папой не спеша идем длинным, захудалым подобием улицы с рекламой мороженого «Сильвервуд» вдоль обочин у освещенных лавчонок. Действие происходит в Таппертауне, старом городе на озере Гурон, старом зерновом

порту. Кое-где на улице встречаются островки тени благодаря кленам, чьи корни растрескались и, вспучивая асфальт, расползлись по лысым дворикам, будто крокодилы. Жители сидят у своих домов: мужчины, кто в рубашках, кто в майках, женщины в фартуках — люди, которых мы не знаем, но, если бы кто-то сподобился кивнуть нам и сказать: «Жаркий вечерок», отец кивнул бы в ответ и тоже сказал что-нибудь такое. Дети все еще играют на улице. Я их не знаю, потому что мама не выпускает нас с братиком со двора, говоря, что брат еще слишком маленький, а я должна за ним присматривать. Мне безразличны вечерние игры чужих детей, потому что они дразнильные и недружные. Дети сами по себе разбегаются, отделяются островками по двое или по одному под грузными деревьями, занимая себя уединением, как и я целый день, вдавливая камешки в грязь или чертя на ней буквы прутиком.

Но вот мы уже оставили позади дома и дворы и проходим фабрику с заколоченными окнами и склад пиломатериалов, высокие деревянные ворота которого заперты на ночь. Потом город сходит на нет в бесплодной путанице теней и небольших свалок, тротуар обрывается, и мы идем по песчаной тропе, заросшей лопухами,

подорожником и скромными безымянными сорняками.

Мы выходим на пустой участок, вроде как парк, потому что здесь нет мусора, зато есть скамейка без одной перекладины на спинке, тут можно посидеть, глядя на воду. А вода по вечерам обычно серого цвета под слегка облачными небесами, ни тебе заката, ни горизонта — туман один. Тихонько полощутся камешки у берега. Вдалеке, где располагается основная часть города, видна полоса песка, там и водяная горка, и буйки вокруг безопасного места для купания, и расшатанный трон спасателя. А еще длинное зеленое строение, похожее на крытую веранду, так называемый «Павильон», по воскресеньям там полно фермеров и фермерш в чопорной одежде. Эту часть города мы хорошо знали раньше, когда жили в Данганноне и приезжали сюда раза три-четыре за лето, к Озеру. И еще доки, куда мы идем посмотреть на зерновые суда, древние, ржавые, покачивающиеся, и мы гадаем, как они могли пройти мимо волнореза, не говоря уж — до Форт-Уильяма.

Бродяги слоняются у доков, а вечерами частенько доходят до запущенных пляжей и, вскарабкавшись по крутой, опасной тропинке,

протоптанной мальчишками, околачиваются под высохшими кустами и что-то говорят папе, а я их так боюсь, что не понимаю ни слова. Папа отвечает, что он и сам сейчас на мели.

— Могу вам скрутить папироску если устроит, — говорит он и вытряхивает табак на тонкую папиросную бумагу облизывает края, склеивает и протягивает бродяге, который принимает папиросу и уходит. Папа сворачивает и себе, запаливает и курит.

Он рассказывает мне, откуда взялись Великие озера.

— Все, что теперь стало озером Гурон, — говорит он, — было равниной, огромной плоской равниной. Потом появился лед, он наползал с Севера, проникая глубоко в низины. Вот так. — И он показывает мне ладонь с растопыренными пальцами, вжимая ее в твердый каменистый грунт, на котором мы сидим. Но папины пальцы не оставляют никаких отпечатков, и он говорит: — Ладно, древняя ледяная шапка гораздо тяжелее, чем ладонь. Потом ледник отступил к Северному полюсу, откуда пришел, но оставил свои ледяные пальцы в продавленных ими низинах, лед растаял, превратился в озера, и вот они здесь по сей день. А по тем временам они были *новенькими.*

Я пытаюсь вообразить перед собой эту равнину и как по ней ходят динозавры, но я не в состоянии представить берег Озера даже в те времена, когда здесь обитали индейцы, до Таппертауна. То, что нам отпущен такой малюсенький отрезок времени, ужасает меня, но папа, кажется, относится к этому спокойно. Даже мой собственный отец, который, как мне порой кажется, в этом мире как дома с самого его сотворения, и то живет на свете чуть-чуть дольше, чем я, в масштабе времени вообще. Он не больше моего знает о той поре, когда еще не существовало ни автомобилей, ни электричества. Он еще не родился, когда началось столетие. И будет уже — если вообще доживет — старый-престарый, когда оно кончится. Мне не хочется думать об этом. Я хотела бы, чтобы Озеро всегда было просто озером — с заградительными буйками, и с волнорезом, и с огнями Таппертауна.

У отца есть работа, он служит в компании «Братья Уокер». Эта фирма торгует почти исключительно в сельской местности, в самой глуши. Саншайн, Бойлсбридж, Тернераунд — это папина территория. Но не Данганнон, где мы раньше жили. Данганнон слишком близко от города, и мама говорит, что слава богу. Отец продает лекар-

ства от кашля, микстуры с железом, мозольные пластыри, слабительное, пилюли от женских недомоганий, полоскания для рта, шампуни, мази, кремы, лимонный, апельсиновый и клубничный порошок для освежающих напитков, ваниль, пищевые красители, черный и зеленый чай, имбирь, гвоздику и другие специи, крысиный яд. Он даже сложил песню про это, с такими строчками:

Есть у меня и мазь, и соль —
Излечат чирей и мозоль.

Маме эта песня кажется не очень-то веселой. Песня разносчика — вот он кто, разносчик, стучащийся в двери захолустных кухонь. До самой прошлой зимы у нас было свое дело — лисья ферма. Отец выращивал чернобурых лисиц и продавал шкурки изготовителям шапок, шуб и муфт. Цены упали, отец надеялся, что они поднимутся в следующем году, и в следующем, но в конце концов надеяться стало не на что: все, что у нас было, мы задолжали поставщикам корма. Я слышала, как мама постоянно объясняет это миссис Олифант, единственной нашей соседке, с которой она разговаривает (миссис Олифант тоже лихо досталось — школьная учительница, она вышла

замуж за уборщика). «Мы все вложили в дело, — говорила мама, — и остались ни с чем». Многие могут сейчас сказать то же самое, но у мамы нет времени переживать за всю страну, только за нас. Судьба выбросила нас к беднякам на улицу (не важно, что мы были бедными и раньше, это был другой вид бедности), и принимать это нужно, на мамин взгляд, с достоинством и горечью, ни о чем не сожалея. Ни ванна на когтистых лапах, ни унитаз со сливом не могут ее утешить, ни вода в кране, ни дорожки у дома, ни молоко в бутылках на пороге, ни целых два кинотеатра, ни ресторан «Венера», ни универмаг «Вулворт» — такой чудесный, там поют настоящие птицы в клетках с вентиляторами и плавают рыбки в зеленых аквариумах, крошечные, как ноготки, яркие, как луны. Но маме все это безразлично.

В полдень она часто ходит в лавку Саймона и берет меня с собой — помочь нести покупки. Мама надевает красивое платье изумрудного цвета в цветочек, прозрачное — поверх синей комбинации. И еще летнюю белую соломенную шляпу, слегка заломленную набок, и белые туфли, которые я только что начистила на газете на ступеньках черного хода. У меня свежезавитые локоны, которые сухой воздух скоро благопо-

лучно выпрямит, а на макушке тугая лента. Эти выходы совсем не похожи на прогулки с отцом после ужина. Мы не прошли еще и двух домов, но я уже чувствую, что мы стали предметом всеобщих насмешек. Даже непристойные слова, выведенные мелом на тротуарах, смеются над нами. Мама их вроде и не замечает. Она шествует безмятежно, как благородные дамы ходят за покупками, — дама идет за покупками мимо домашних хозяек в мешковатых платьях с разорванными проймами. И с нею я, ее творение, в жутких кудрях и с щегольской лентой, создание с чистыми коленками и в белых носочках — все то, чем я не хочу быть. Я ненавижу даже свое имя, когда она произносит его на людях громким голосом, горделивым и звенящим, преднамеренно отличным от голосов всех других матерей на улице.

Иногда, чтобы побаловать нас, мама приносит домой мороженое — трехцветное неаполитанское, и, поскольку холодильника у нас нет, мы будим братика и сразу съедаем мороженое в столовой, вечно темной из-за соседнего дома, заслоняющего солнце. Я нежно выковыриваю мороженое маленькой ложечкой, оставляя шоколад напоследок, надеясь, что у меня еще будет чем

полакомиться, когда мой братец вылижет свою тарелку. Потом мама пытается сымитировать беседы, которые мы вели в Данганноне — давно, в те более неспешные времена, когда брат еще не родился, когда она наливала мне капельку чая с большим количеством молока в такую же чашку, как у нее, и мы сидели на порожке, откуда виднелась колонка, сирень и лисьи клетки поодаль.

Она все время вспоминает те дни: «А помнишь, как Майор катал тебя на санках?» (Майор — это наш пес, нам пришлось отдать его соседям, когда мы переехали.) «А помнишь свою песочницу под кухонным окном»? Я-то много чего помню, но притворяюсь, что помню гораздо меньше, опасаясь угодить в ловушку сочувствия или еще каких-нибудь нежелательных эмоций.

У мамы случаются головные боли. Она часто ложится. Она лежит на узкой кровати брата в застекленной части веранды, затененной густыми ветками.

— Я смотрю на это дерево и думаю, что я дома, — говорит она.

— Все, что тебе нужно, — говорит ей отец, — это свежий воздух и поездка за город.

Он имеет в виду, что ей стоит поехать с ним за компанию, по его «уокеровским» делам.

Но такие поездки за город не для моей мамы.

— А мне можно с тобой?

— А если ты понадобишься маме для примерки?

— Мне сегодня не до шитья, — говорит мама.

— Тогда я возьму ее. Возьму обоих, чтобы ты отдохнула.

И что в нас такого, что от нас нужно отдыхать? Ну да ладно. Я и так рада-радехонька, зову брата, заставляю сходить в туалет, и мы забираемся с ним в машину, волосы у меня растрепаны, коленки немыты. Отец выносит из дому два тяжелых коричневых чемодана, доверху набитые бутылками, и кладет их на заднее сиденье. Он в белой рубашке, сверкающей на солнце, в галстуке, в светлых брюках от летнего костюма (второй его костюм — черный, для похорон, достался папе после смерти дяди) и в кремовой соломенной шляпе. Это его коммивояжерский наряд, с карандашами, выглядывающими из нагрудного кармана рубашки. Он возвращается в дом еще раз, вероятно, чтобы попрощаться с мамой, уточнить, не передумала ли она, и услышать: «Нет. Нет, спасибо, я лучше полежу с закрытыми глазами». Потом мы задним ходом выезжаем из двора, и во мне зарождается и растет надежда на приключе-

ние, просто маленькая надежда, которая уносит тебя через выбоину на улицу, горячий воздух начинает дуть в лицо, превращаясь в ветерок, дома становятся все менее знакомыми, когда отец срезает дорогу и едет из города коротким, одному ему известным путем. Но что ждет нас весь день, кроме жарких часов на разоренных фермерских дворах? Может, остановка в деревенской лавке и три стаканчика с мороженым или бутылка шипучки, да еще папина песенка? Та, которую он сочинил сам о себе, под названием «Ковбой братьев Уокер», и начинается она так:

Старина Нед Филдс отдал концы,
Я теперь за него развожу леденцы.

Кто такой Нед Филдс? Наверняка человек, вместо которого папа работает, если тот и вправду умер. К тому же голос у папы похоронно-радостный, превращающий смерть предшественника в бессмыслицу, в комическое бедствие: «Лучше б я жил у Рио-Гранде, окунал бы ноги в песок». Отец поет почти все время, пока ведет машину. Даже теперь, удаляясь от города, пересекая мост и беря крутой поворот на шоссе, он мурлычет что-то, бормочет себе под нос, готовый к импровизации, но мимо нас проносится баптистский летний

лагерь, их летняя школа, и отец распоясывается:

Где все баптисты, где все баптисты?
Где же все баптисты, заведу мотив?
Они все утопли, утопли в Гуроне
Со всеми грехами, их водою смыв.

Братишка принимает все это за чистую монету и пытается привстать на коленки, чтобы взглянуть на Озеро.

— Я не вижу ни одного баптиста, — говорит он обиженно.

— И я не вижу, сынок, — отвечает папа, — я же сказал, они все утонули в Озере.

Когда шоссе заканчивается, мы едем по бездорожью. Окна из-за пыли пришлось поднять. Местность плоская, выжженная, пустая. Кустарники за фермами отбрасывают тень, сумрачную, зеленоватую, как вода в прудах, до которых никто никогда не может добраться. Мы трясемся по длинной грунтовой дороге и в конце ее видим то, что едва ли может выглядеть более негостеприимным, более опустошенным, — раскинувшийся по двору некрашеный фермерский дом с давно не кошенной травой до самого крыльца, зеленые ставни опущены, а ведущая в никуда дверь второго этажа хлопает на ветру.

Такие двери во многих домах, но почему — я никак понять не могу. Я спрашиваю отца, и он отвечает, что это для лунатиков. *Что*? Ну, если ты ходишь во сне и тебе надо выйти на улицу. Я оскорбляюсь, потому что поздно догадалась, что он шутит, как обычно, но брат назидательно говорит:

— Если они будут ходить во сне, то сломают шею.

Тридцатые годы… До чего эти фермерские дома и этот полдень под стать тому времени, точно так же как и отцовская шляпа, и его сверкающий галстук, и наш автомобиль с огромной подножкой («эссекс», и порядком видавший виды). Похожие машины, но более древние и не такие запыленные стоят в здешних дворах. Некоторые уже отбегали свое, с них сняли двери, а сиденья перенесли на веранды. Ни одной живой души, ни кур, ни скота. Только собаки. Собаки, лежащие в тени… Они дремлют, их тощие бока судорожно вздымаются и втягиваются. Собаки встают, когда папа открывает дверцу машины, и ему приходится разговаривать с ними: «Хороший мальчик, молодец, старина». Они успокаиваются и возвращаются в тень. Кому как не папе, знать, как усмирять животных, ему же

приходилось справляться с самыми бешеными лисами. Один, мягкий, голос — для собак и другой — оживленный, задорный — к входной двери: «Привет, хозяюшка, тут вот от „Братьев Уокер“ интересуются, в чем у вас на сегодня нехватка?» Дверь открывается, папа исчезает за ней. Нам запрещено идти следом, нельзя даже выходить из машины, мы просто ждем и обдумываем его слова. Иногда, стараясь рассмешить мать, он разыгрывает сценку «на кухне у фермерши», раскрывая воображаемый чемодан с рекламными образцами. «Так что же, хозяюшка, вас замучили паразиты? На детских головках, я имею в виду. Все эти ползучие зверюшки, о которых не принято говорить, заводятся и в лучших семействах. Одним только мылом тут не обойтись, керосин дурно пахнет, но вот у меня есть…» Или так: «Уж поверьте мне, человек, который проводит всю жизнь в машине, знает ценность этих прекрасных пилюль. Мгновенное исцеление. Это проблема всех стариков, когда они удаляются от дел. А как ваши дела, бабуля?» Он размахивает воображаемой коробочкой пилюль перед носом матери, и она начинает неохотно смеяться. «Но на самом деле он же этого не говорит?» — спрашиваю я, и мама отвечает, что нет, конечно, он

слишком хорошо воспитан.

Один двор, потом другой, старые машины, колонки, собаки, вид на посеревшие амбары, на покосившиеся сараи и застывшие ветряные мельницы. Если кто-то и работает в поле, то не в том, которое мы видим. Дети далеко, следуют руслам пересохших ручьев в поисках ежевики или прячутся в домах, подглядывая за нами в щели ставен. Сиденье в машине стало липким от пота. Я подзуживаю братишку побибикать — я бы и сама не прочь, но не хочу, чтобы мне влетело. Ему виднее. Мы играем в угадайку, но с цветами вокруг туговато. Серый — это сараи, и амбары, и уборные, и дома. Коричневый — это дворы и поля, и собаки — черные или коричневые. Ржавеющие машины демонстрируют заплатки всех цветов радуги, среди которых мне удается высмотреть фиолетовый или зеленый. Точно так же, глядя на двери, выискивая среди слоев старой отставшей краски, я нахожу бордовую или желтую. Куда интересней играть в слова, только брат слишком мал для этого. Все равно доиграть не выходит. Брат обвиняет меня, что я жульничаю с цветами, и требует форы.

В одном доме все двери закрыты, хотя машина стоит во дворе. Отец свистит, и стучит, и зовет:

«Есть кто? Ковбой от братьев Уокер!» — но никто не отзывается. У дома нет порога, просто голая покатая бетонная плита, на которой сейчас стоит отец. Он идет к амбару, наверняка пустому, потому что сквозь крышу просвечивает небо, потом наконец подхватывает чемоданы. И тогда на втором этаже открывается окно, на подоконнике появляется белый горшок — горшок наклоняется, и его содержимое растекается по стене. Окно не прямо над головой отца, так что только брызги могут его задеть. Он несет чемоданы в машину без особой спешки, но уже не насвистывает.

— Знаешь, что это было? — спрашиваю я брата. — Ссаки!

Он заливисто хохочет.

Отец сворачивает папиросу и прикуривает перед тем, как включить зажигание. Оконная рама опустилась, штора тоже, мы так и не увидели ни руки, ни лица.

— Ссаки, ссаки! — поет брат в экстазе. — Кто-то вылил ссаки!

— Только не рассказывайте маме, — говорит отец, — она не понимает шуток.

— Это есть в твоей песенке? — не унимается брат.

Отец говорит, что нет, но он, мол, подумает, как

это можно вставить.

Чуть позже я замечаю, что мы больше не сворачиваем во дворы, хотя непохоже, что едем домой.

— Разве это дорога на Саншайн? — спрашиваю я отца, и он отвечает:

— Нет, мэм.

— Мы еще на твоей территории?

Он мотает головой.

— Быстро мы несемся! — одобрительно замечает брат, и вправду мы трясемся по высохшим лужам так, что бутыльки в чемоданах звенят, сталкиваясь, и многообещающе булькают.

Еще дорога, дом, тоже некрашеный, высушенный солнцем до седины.

— Я думаю, что мы на чужой территории.

— Так оно и есть.

— Тогда зачем мы здесь?

— Увидишь.

Перед домом крепкая женщина собирает белье, разложенное на траве, чтобы отбелить его и высушить. Когда автомобиль тормозит, она с минуту вглядывается, подняв голову, затем, наклонившись, подбирает несколько полотенец, добавляет их к остальным под мышкой и, подойдя к нам, говорит равнодушным голосом, ни дружеским,

ни враждебным:

— Вы заблудились?

Отец не сразу выбирается из машины.

— Нет вроде, — говорит он, — я работаю на «Братьев Уокер».

— Их человек тут — Джордж Голли, — возражает женщина, — и он был здесь неделю назад. О господи боже, — резко вскидывается она, — это ты!

— Ну был им, по крайней мере, когда последний раз смотрел в зеркало, — отвечает отец.

Женщина прижимает всю стопку полотенец к животу, будто унимая боль.

— Вот уж кого я совсем не чаяла увидеть. Да еще и работающим на братьев Уокер.

— Мне очень жаль, если ты надеялась увидеть Джорджа Голли, — кротко отвечает отец.

— А я-то хороша, собиралась почистить курятник. Ты, конечно, решишь, что я оправдываюсь, но это действительно так. Я не всегда в таком виде.

На ней фермерская соломенная шляпа, сквозь дырочки которой проникает солнечный свет и волнами струится по лицу, мешковатый грязный ситцевый комбинезон и спортивные туфли.

— А кто это там, в машине? Неужели твои,

Бен?

— Ну, надеюсь и верю, что мои, — говорит отец и называет наши имена и возраст. — Эй, можете выходить. Это Нора. Мисс Нора Кронин. Нора, признавайся, ты еще мисс или прячешь мужа в сарае?

— Будь у меня муж, я бы держала его в другом месте, Бен, — отвечает она, и оба смеются, но у нее смех отрывистый и чуточку злой. — Еще решите, что я дурно воспитана и привыкла одеваться, как оборванка, — продолжает она. — Ладно, не стойте на солнцепеке. Заходите-ка в дом, там прохладно.

Мы идем через двор («Извините, что кружным путем, но дверь, кажется, не открывали с папиных похорон. Боюсь, что петли отвалятся»), поднимаемся по ступенькам и проходим в кухню, в которой действительно прохладно: высокий потолок, ставни, конечно, опущены — кругом чисто прибрано, потертый линолеум навощен, герань в горшках, бадья с водой и ковшиком, круглый стол с отмытой до блеска клеенкой. Несмотря на вымытые и вычищенные поверхности, в комнате попахивает кислятиной — то ли тряпка для мытья посуды, то ли оловянный ковшик, а может, клеенка или старуха, потому что вот она

сидит в качалке под полкой с часами. Старуха слегка поворачивает голову в нашу сторону и спрашивает:

— Нора, ты не одна?

— Слепая, — быстро объясняет отцу Нора и тут же: — Ты не догадаешься, кто это, мам. Ну-ка, узнаешь его голос?

Отец подходит к креслу, наклоняется и говорит с надеждой:

— День добрый, миссис Кронин.

— Бен Джордан, — без всякого удивления реагирует старуха. — Долго ты нас не навещал, за границу ездил?

Отец и Нора переглядываются.

— Он женат, мам, — говорит Нора с веселым вызовом. — Женат, и у него двое детей, вот они.

Она подталкивает нас поближе и заставляет по очереди коснуться сухой, холодной старухиной руки, называя наши имена. Слепая! Это первый слепой человек, которого я вижу вблизи. Глаза ее закрыты, веки провалились, не повторяя формы глазных яблок, просто впадины. Из одной впадины вытекла капля серебряной жидкости, лекарство или чудотворная слеза.

— Дайте-ка я переоденусь во что-нибудь приличное, — говорит Нора, — а пока побеседуйте

с мамой. Доставьте ей удовольствие. Мы ведь редко видим гостей, да, мама?

— Мало кто находит эту дорогу, — отвечает старуха безмятежно. — А те, кто жил здесь, наши прежние соседи, многие выехали.

— Такое повсюду, — подтверждает отец.

— Так где же твоя жена?

— Дома. Она не слишком жалует жару и плохо себя чувствует.

— Что поделаешь. — У деревенских, у стариков особенно, в обычае говорить «что поделаешь», подразумевая «неужели?» с чуть большей толикой вежливости и заботы.

Платье Норы, когда, тяжело стуча кубинскими каблуками по ступенькам, она появляется снова, украшено цветами более щедро, чем все мамины платья. Зеленое и желтое на коричневом, что-то вроде струящегося прозрачного крепдешина, открывающего руки. Руки у Норы массивные, усыпанные мелкими темными веснушками, похожими на коревую сыпь. Волосы у нее короткие, жесткие и кучерявые, а зубы очень белые и крепкие.

— Не знал, что на свете существуют зеленые маки, — говорит отец, глядя на ее платье.

— Ты удивишься, сколько на свете такого, чего

ты не знаешь, — отвечает Нора; когда она двигается, за ней следует шлейф одеколона, и голос изменился под стать платью, в нем появились приветливые и юные нотки. — И никакие это не маки — просто цветы. Сходи-ка подкачай холодной водички, и я приготовлю детям напиток.

Она снимает с полки бутылку апельсинового сиропа, купленного у «Братьев Уокер».

— Так ты, говоришь, на «Братьев Уокер» работаешь?

— Это так, Нора. Можешь пойти и взглянуть на образцы в машине, если не веришь. Моя территория к югу отсюда.

— «Братья Уокер»? Не может быть! И ты работаешь у них коммивояжером?

— Да, мэм.

— Но мы слышали, что ты разводишь лис в Данганноне.

— Ну да, разводил, но мне, скажем так, не слишком повезло в этом деле.

— А где вы живете? И как давно ты в разъездах?

— Мы переехали в Таппертаун. Да уже, ох, два-три месяца. Хотя бы сводим концы с концами. Правда, концы что-то коротковаты.

Нора засмеялась:

— Ну что ж, думаю, тебе еще повезло — у тебя есть работа. Муж Изабеллы в Брантфорде, он без работы гораздо дольше. Наверное, коли он не найдет ничего вскорости, придется взять их всех на прокормление, а это не совсем то, на что я рассчитывала. Все, что я могу, — это прокормить себя и маму.

— Изабелла замужем, а Мюриэль тоже? — спросил папа.

— Нет, она школьная учительница на Западе. И не была дома лет пять. Наверно, у нее есть чем заняться в праздники. На ее месте я бы нашла.

Она достает какие-то фотографии из ящика стола и начинает их показывать:

— Это старшенький Изабеллы, только пошел в школу. А это малышка в коляске. Изабелла с мужем. Мюриэль. Это ее соседка по комнате. Это парень, с которым она встречалась, и его машина. Он работал в тамошнем банке. Это школа, в ней восемь классов. Мюриэль преподает в пятом.

Отец качает головой:

— Я могу ее представить только школьницей, такой застенчивой, как когда я подвозил ее в школу, встретив на дороге по пути к вам. Она вечно помалкивала, даже на «доброе утро» не откликалась.

— Она уже переросла застенчивость.

— О ком это вы говорите? — спрашивает старушка.

— О Мюриэль. Я говорю, что она уже не стесняется.

— Она приезжала прошлым летом.

— Нет, мама, то была Изабелла. Изабелла со всей семьей приезжала прошлым летом. Мюриэль далеко на Западе.

— Я и говорю — Изабелла.

Вскоре после этого старушка засыпает с открытым ртом, свесив голову на плечо.

— Извините ее, — говорит Нора. — Старость.

Она поправляет плед на коленях матери и говорит, что мы можем пойти в гостиную, чтобы не разбудить мать разговорами.

— А вы, — спрашивает отец, — не хотите ли пойти во двор — развлечься?

Развлечься как? Я-то хочу остаться в доме. Гостиная веселей кухни, хотя обставлена скуднее. Там есть граммофон и фисгармония, а на стене картинка с изображением Девы Марии — Матери Иисуса, я много про Нее знаю, — раскрашенная в ярко-голубые и розовые тона, с острым ободом вокруг головы. Я знаю, что такие картины водятся только в домах у католиков, и, значит, Нора — ка-

толичка. У нас не было знакомых католиков, ну, настолько хорошо знакомых, чтобы заходить к ним в дом. Я вспоминаю, что бабушка и тетя Тина всегда говорили по поводу католиков: *такой-то и такой-то копает не той ногой.* «Она копает не той ногой» — вот что они сказали бы про Нору.

Нора снимает с крышки фисгармонии полупустую бутылку и разливает ее содержимое в два бокала — свой и папин.

— Держишь на случай простуды? — спрашивает отец.

— Ни в коем случае, — говорит Нора. — Я никогда не болею. Держу потому что держу. Бутылки хватает надолго, ведь я не люблю пить одна. За удачу!

Они с отцом пьют, и я понимаю, что это. Виски. Из наших с мамой разговоров я четко усвоила, что папа никогда не пьет виски. Но я вижу, что пьет. Он пьет виски и говорит о людях, имен которых я никогда не слышала. Но вскоре он обращается к знакомой истории. Он рассказывает о ночном горшке, выплеснутом из окна.

— Только вообрази, — смеется он, — стою там и задушевно блею: «О леди, это ваш ковбой от братьев Уокер, кто-нибудь дома?..»

И он блеет, глупо ухмыляясь, ожидая реакции,

а потом — ай! — пригибает голову, закрывается руками, смотрит, будто просит пощады (хотя ничего такого он тогда не делал, я же видела), и Нора заливисто смеется — точно так же, как брат, когда это случилось.

— Этого не может быть, не верю ни одному слову.

— О, так и было, мэм. В рядах «Братьев Уокер» есть свои герои. Рад, что вам смешно, — произносит он очень серьезно.

Я прошу застенчиво:

— Спой, папа.

— Спой? Ко всему ты еще и певцом заделался?

— О, я сочинил пару песенок, пока колесил по округе, просто чтобы развлечься, — смущенно отвечает отец.

Но после уговоров он поет, как-то чудно глядя на Нору, словно извиняясь, и она хохочет не переставая, хохочет так, что ему приходится остановиться, ожидая пока она не умолкнет, потому что он и сам начинает смеяться. Потом он занимает ее рассказами о своих коммивояжерских злоключениях. Нора, когда смеется, прижимает ладони к огромной груди.

— Ты чокнутый, — говорит она, — вот кто ты такой.

Она видит, что брат уставился на граммофон, вскакивает и подходит к нему.

— Ну вот, мы тут сидим и развлекаемся и забыли о тебе, ну не безобразие ли это? — возмущается она. — Ты ведь хочешь поставить пластинку, да? Хочешь послушать красивую музыку? А танцевать ты умеешь? Спорю, что твоя сестричка умеет, правда?

Я говорю, что не умею.

— Такая взрослая девочка, как ты, и такая хорошенькая — и не умеет танцевать! — восклицает Нора. — Значит, пришло время учиться. Честное слово, из тебя получится прелестная танцорка. Смотри, я поставлю музыку, под которую я танцевала и твой папа тоже в те времена, когда он еще танцевал. Ты не знала, что твой папа танцевал, правда? А ведь он настоящий талант, твой папа.

Она заводит граммофон и неожиданно обхватывает меня за талию, берет за руку и заставляет отступить.

— Вот так и вот так, вот так танцуют. Следуй за мной. Эту ногу, смотри. Раз и два. Раз и два. Отлично, прекрасно, не смотри на ноги! Повторяй за мной, вот, вот, видишь, как легко? Будешь замечательно танцевать. Раз и два. Раз и два. Бен, гляди-ка, дочка твоя танцует!

Я прошепчу, в твоих объятьях кружась,
Я прошепчу и никто не услышит нас.

Круг за кругом по линолеуму, я горжусь собой, поглощенная танцем; Нора смеется и движется покачиваясь, окутывая меня необъяснимым весельем, запахом виски, одеколона и пота. Ее платье под мышками взмокло, и капельки выступили на верхней губе и блестят в мягких темных волосках в углах рта. Она вертит меня перед отцом, так что я спотыкаюсь, на самом-то деле не такая уж я хорошая ученица, как она старается показать, — и отпускает меня, совсем запыхавшуюся.

— Потанцуй со мной, Бен.

— Я самый плохой танцор в мире, Нора, сама знаешь.

— Никогда так не считала.

— Теперь другое дело.

Она стоит перед ним, безнадежно уронив руки, а ее груди, которые минуту назад смущали меня жаром и величиной, вздымаются и опадают под свободным цветастым платьем, ее лицо сияет торжеством и счастьем.

— Бен.

Отец опускает голову и говорит тихо:

— Я не буду.

Так что ей остается только снять пластинку.

— Я могу пить одна, но танцевать в одиночестве не могу, — говорит она. — Если, конечно, не сойду с ума больше, чем уже сошла.

— Нора, — улыбается отец, — ты не сумасшедшая.

— Оставайтесь на ужин.

— Ох нет. Не хотелось бы утруждать тебя.

— Какой тут труд, я была бы счастлива.

— Но их мать будет волноваться. Еще подумает, что я их вывернул в кювет.

— О, ну конечно.

— Мы и так отняли у тебя время.

— Время, — повторяет Нора с горечью, — приедешь еще когда-нибудь?

— Я постараюсь, если смогу, — отвечает отец.

— Приезжай с детьми, с женой.

— Обязательно, — обещает отец, — если смогу.

Когда она провожает нас к машине, папа говорит:

— А ты тоже могла бы навестить нас, Нора. Мы живем на Гроув-стрит, как свернешь налево, на север, третий дом к востоку от Бейкер-стрит.

Нора не повторяет маршрут, она стоит рядом с машиной, в своем тонком сверкающем платье. Она касается крыла машины, оставляя на пыль-

ной поверхности незаметный след.

На обратном пути папа не покупает ни мороженого, ни шипучки, но, забежав в деревенскую лавку, приносит пакет лакрицы и делит конфеты поровну «Она копает не той ногой», — думаю я, и эти слова кажутся мне печальными, как никогда, — мрачные, неправильные слова. Отец не просит меня ничего не рассказывать дома, но по тому, как он медлит, передавая лакрицу, я знаю, просто по наитию знаю, о чем дома не стоит рассказывать. Про виски и, может, про танцы. Брат ничего не заметил, так что его опасаться не стоит. Все, что он мог запомнить, — это слепую и Марию на картинке.

— Спой! — командует брат отцу, но папа отвечает серьезно:

— Даже не знаю. Вроде кончился запас песенок. Ты смотри за дорогой и дай мне знать, если заметишь кроликов.

Папа ведет машину, брат высматривает кроликов на дороге, а я чувствую, как папина прошлая жизнь уплывает из машины в предвечерье, темнея и превращаясь в нечто странное, такое же странное, как зачарованный пейзаж — дружелюбный, знакомый до мелочей, пока ты смотришь на него, но, стоит только отвернуться,

он меняется, превращаясь в нечто совершенно неведомое, с самыми невероятными погодами и расстояниями.

Когда мы приблизились к Таппертауну, небо затянуло нежными облаками, как всегда, почти как всегда летними вечерами у Озера.

Сияющие дома

Мэри сидела на заднем крыльце у миссис Фуллертон и беседовала с хозяйкой — ну как «беседовала», на самом деле она просто слушала миссис Фуллертон, у которой покупала яйца. Мэри зашла отдать ей деньги по пути на день рождения к Дебби, дочке Эдит. Сама миссис Фуллертон никого не навещала и не приглашала к себе, но была не прочь поболтать, если кто зашел по делу. И Мэри невольно погрузилась в подробности жизни соседки, как некогда погружалась в воспоминания своих бабушек или тетушек, притворяясь, что знает гораздо меньше, спрашивая о том, о чем уже слышала прежде, таким образом эпизоды всякий раз вспоминались по-новому, слегка меняя свое содержание, значение, оттенки, но неизменно звучали с чистейшей достоверностью, которая обычно присуща событиям, ставшим в некотором роде легендой. Мэри уже почти забыла, как это бывает. Не так уж часто ей теперь доводилось общаться со стариками. Жизнь большинства ее знакомых походила на ее собственную — там все еще царила неразбериха

и неуверенность в том, стоит ли это или то принимать всерьез. У миссис Фуллертон на сей счет не возникало никаких сомнений или вопросов. Как можно, например, не принимать всерьез широкую беспечную спину мистера Фуллертона, исчезнувшую вдали однажды летним днем, чтобы никогда больше не вернуться?

— Я об этом не знала, — удивилась Мэри, — я всегда думала, что мистер Фуллертон умер.

— Да он живее меня самой, — приосанилась миссис Фуллертон.

Нахальный петух породы плимутрок прохаживался по верхней ступеньке крыльца, и Денни, сынишка Мэри, встал и начал осторожно к нему подкрадываться.

— Завеялся куда-то, вот и все. Может, на север, может, в Штаты, не знаю. Но он не умер. Я бы почувствовала. Он ведь совсем не старый, между прочим, не такой старый, как я. Это ж был мой второй муж, помоложе. Я никогда не скрывала этого. У меня был этот дом, где я вырастила детей и похоронила первого мужа задолго до того, как на горизонте возник мистер Фуллертон. Ха, однажды мы вместе стояли на почте, я отошла бросить письмо в почтовый ящик, оставив на стойке сумку, а мистер Фуллертон собрался было

идти следом, и тогда тамошняя девушка окликнула его: «Эй, тут ваша мама сумочку забыла!»

Мэри усмехнулась в ответ заливистому смеху миссис Фуллертон, которому не стоило верить. Та действительно была стара, старше, чем можно было судить по ее волосам, еще кудрявым и черным, по неряшливо-ярким нарядам, по грошовым брошкам, приколотым на обтерханную кофту. Старость выдавали глаза — темные, как чернослив, эти глаза мерцали мягко и безжизненно. Увиденное тонуло в них, не оставляя на поверхности и следа. Вся жизнь ее лица сошлась на носу и губах, которые пребывали в постоянном судорожном движении, вечно трепетали, очерченные глубокими натянутыми морщинами на щеках. Каждую пятницу миссис Фуллертон приносила яйца на продажу, и всякий раз она была завита, кофту скалывала клумба искусственных цветов, а накрашенные губы изгибались двумя свирепыми красными змейками — миссис Фуллертон не желала, чтобы новые соседи видели в ней унылую опустившуюся старушенцию.

— Решила, что я его мать, — повторила она. — Да и ладно. Вот смеху-то было… Так на чем я остановилась? Ах да… Это случилось летом, в тот

день у мужа был выходной. Он поставил стремянку и срывал для меня черешню с деревьев. Я выхожу повесить одежду сушиться и тут вижу, как человек, которого я раньше никогда в жизни не встречала, берет из мужниных рук ведерко черешен. А потом по-хозяйски, не стесняясь, садится и ест мою черешню — прямо из моего же ведерка. Я у мужа спрашиваю: «Кто это?» — а он мне: «Прохожий». Я говорю: «Если это твой приятель, зови его остаться на ужин», а он: «Да что ты такое говоришь? Я его впервые вижу». Ну, я и примолкла. Мистер Фуллертон вышел и болтал с этим, который ел мою черешню, а я ведь собиралась из нее начинку для пирога сделать, но мой муж вообще заговаривал со всеми подряд: с бродягой, «свидетелями Иеговы», с кем попало — без разбора. А через полчаса после ухода этого типа, — сказала миссис Фуллертон, — мистер Фуллертон надел свой коричневый пиджак и шляпу и куда-то засобирался. «Пойду, — говорит, — в город, надо кое-кого повидать». — «И надолго ты?» — спрашиваю я. «Нет, ненадолго». И он пошел по дороге, туда, где была старая трамвайная остановка, и что-то дернуло меня глянуть ему вслед. «А ведь он запарится в этом пиджаке», — сказала я вслух. Вот тогда-то мне и стало ясно, что он

больше не вернется. В жизни бы не подумала, что он уйдет, ему тут было хорошо. Он поговаривал о том, чтобы разводить шиншилл на заднем дворе. Вот так живешь-живешь с человеком и понятия не имеешь, что ему в голову взбредет.

— И давно это случилось? — спросила Мэри.

— Двенадцать лет назад. Мальчики мои потом уговаривали меня все продать и переселиться в съемную квартиру. Но я им сказала: «Нет уж». У меня тогда и куры были, и козочек много. Какая-никакая живность. Даже ручной енот жил одно время, я его жвачкой угощала. Нет, говорю я, мужья приходят и уходят, а место, где ты прожил пятьдесят лет, — это совсем другое. Вот так я шутила со своей родней. И потом, думала я, если мистеру Фуллертону суждено возвратиться, он придет сюда, а то куда же? Конечно, он вряд ли знает, где меня искать, так все изменилось. Но я всегда подозревала, что он просто потерял память и она еще может к нему вернуться. Вот такие дела… Нет, я-то не жалуюсь. Иногда мне кажется, что у мужчины на все есть резоны — уйти или остаться. И я не против здешних перемен, мой яичный бизнес от них только выигрывает. А вот в няньки не пойду. И дня не проходит, чтобы кто-нибудь не позвал меня в няньки. Я им отвечаю,

что у меня, слава богу, есть собственная крыша над головой, а свою долю детей я уже вырастила.

Мэри, вспомнив про день рождения, встала и позвала своего малыша.

— Я, пожалуй, летом продам черешню прямо с дерева, — сказала миссис Фуллертон. — Приходите рвите сами, и это вам обойдется в пятьдесят центов за ящик. Я больше на лестницу ни ногой, а то еще костей своих старых не соберу.

— Да нет, спасибо, — заметила Мэри с улыбкой, — в супермаркете дешевле будет.

Миссис Фуллертон и так терпеть не могла супермаркеты — те сбили цены на яйца. Мэри вытряхнула из пачки последнюю сигарету и отдала ее старушке, сказав, что у нее в сумке лежит еще целая пачка. Старушка любила покурить, но угостить миссис Фуллертон можно было, только застав ее врасплох. «Посидела бы с малышами — вот и заработала бы на сигареты», — подумала Мэри, и в то же самое время ей была по сердцу этакая несговорчивость миссис Фуллертон. Уходя от нее, Мэри всегда чувствовала себя так, словно пробиралась через баррикады. И дом, и двор казались такими самоуверенно-независимыми со всей этой замысловатой и, казалось, незыблемой системой овощных грядок и цветочных клумб,

яблонями и черешнями, проволочными загонами для птицы, клочком земли под клубнику и деревянным настилом, несчетным количеством грубо сколоченных темных сараюшек для кур, кроликов или коз. Здесь не было четкого и ясного плана, здешний порядок не был понятен постороннему взгляду, хотя само время довершило то, что казалось бессистемным. Это место стало непреложным, неприступным и казалось вечным — со всей этой грудой шаек, метел, кроватных пружин и даже стопками полицейских журналов на заднем крыльце.

Улица, по которой шли Мэри и Денни, во времена миссис Фуллертон называлась Деревенской, но теперь на картах этого района она значилась как Вересковая аллея. Район назывался Цветущий Сад, и все улицы там носили цветочные названия. По одну сторону дороги тянулась голая сырая земля, канавы были полны воды. Досками соединялись берега канав, доски же вели к дверям новеньких домов. Новехоньких, белых, сияющих домов, усевшихся бок о бок длинными рядами над разверзшейся раной земли. Мэри считала их белыми, хотя, конечно, это было не совсем так. Частично они были снаружи оштукатурены, а частично обшиты деревом, но только

оштукатуренные части были белыми, прочие же сияли разнообразными оттенками голубого, розового, зеленого и желтого — яркими и свежими. Год назад, как раз в это время, в марте, сюда явились бульдозеры, чтобы смести с лица земли густой подлесок и громадные дерева горного леса, и вскоре меж валунов и покореженных могучих пней этой еще не оправившейся от немыслимого потрясения земли начали прорастать дома. Поначалу они были хилыми — только свежесрубленные деревянные скелеты маячили в холодных весенних сумерках. Но дома обрели крыши — черные и зеленые, синие и красные, стены покрылись штукатуркой и деревянными планками. В окнах появились рамы и стекла с новенькими наклейками «Окна Мёрри» и «Паркетные полы Френча», и стало понятно, что дома эти — настоящие. Их будущие жители приезжали по воскресеньям месить окрестную грязь. Эти дома предназначались для таких, как Мэри с мужем и сынишкой, — людей с небольшим достатком, но обширными надеждами на будущее. Среди тех, кто знал толк в адресах, Цветущий Сад считался пусть и не таким шикарным районом, как Сосновые Холмы, но куда более предпочтительным, нежели Веллингтон-парк. Ванные в

этих домах были прекрасны — с трельяжами, керамической плиткой и цветной сантехникой. Кухонные шкафчики были из светлой березы или красного дерева; и в кухне, и в эркере-столовой висели медные светильники; декоративные кирпичные кадки под стать облицованным каминам разделяли гостиные и холлы. Просторные светлые комнаты, сухие подвалы, вся эта прочность, безупречность как будто отпечатались на фасаде каждого дома, отпечатались ясно и с достоинством на их простодушно-одинаковых лицах, спокойно глядевших друг на друга по всей улице.

Поскольку была суббота, народ копошился на приусадебных участках. Кто рыл дренажные канавы, кто обустраивал рокарии, кто прибирал и жег обрезанные ветки, а кто мел дорожки. Обуянные соревновательным духом, люди работали неистово и энергично, и все-то для них было в новинку, ибо они были не из тех, кто привык к физическому труду. Они проводили так все субботы и воскресенья, чтобы через год-два здесь появились зеленые террасы, стены из камня, живописные аккуратные цветочные клумбы и декоративные кустарники. Сегодня, наверное, копать было трудновато — земля отяжелела

после дождя, шедшего всю ночь и все утро. Но день выдался ясный, сквозь прореху в облаках проглядывал длинный узкий треугольник неба, синевший по-зимнему изысканно и холодно. По другую сторону дороги за домами высились сосны, ветер не слишком нарушал их увесистую симметрию. Со дня на день эти сосны должны были лечь под пилой, чтобы уступить место торговому центру, обещанному жителям при продаже домов.

Но в недрах этого нового района все еще теплилась другая жизнь. Это был старый город — дряхлый, запущенный город, прилепившийся под горой. Он назывался «городом», потому что сквозь лес бежали трамвайные рельсы, у каждого дома имелся номер, поближе к воде стояли все административные здания, какие положено иметь городу. Но такие дома, как у миссис Фуллертон, были отделены друг от друга нетронутым лесом, джунглями дикой ежевики и зарослями лесной малины — доживающие свой век домишки, из труб которых валил густой дым, а на давно не крашенных стенах проступали разноцветные заплатки, жилища разной степени одряхления с почерневшими топорными времянками и поленницами, компостными ямами и серым

штакетником вокруг участков. Они то и дело попадались среди просторных новых домов на аллеях Мимозы и Ноготков и на Вересковой аллее — угрюмые, замкнутые, и было что-то свирепое в их неуюте и в этих недосягаемых коньках островерхих крыш. Немыслимые на этих улицах, они все-таки оставались здесь.

— Ну о чем они говорят? — поинтересовалась Эдит, поставив на огонь новую порцию кофе.

Всю кухню загромождали руины детского праздника: остатки торта, объедки разноцветного желе, печенье со звериными мордочками. Под ногами шныряли, скрипя, воздушные шарики. Накормленные и уже успевшие попозировать перед камерами, дети теперь вволю предавались играм. Сейчас они бесились где-то в дальних комнатах и в подвале, пока их родителей угощали кофе.

— Так о чем они там говорят? — повторила Эдит.

— Я не прислушивалась, — ответила Мэри, держа в руке пустой сливочник.

Она подошла к окошку над раковиной. Прореха между облаками расширилась, и солнце сияло вовсю. В доме было жарковато.

— Про дом миссис Фуллертон, — сказала Эдит,

убегая в гостиную.

Мэри знала, о чем они говорят. Разговор ее соседок, ничего не предвещавший, мог в любой момент свернуть на эту скользкую тему и закружиться в знакомом до боли неистовом водовороте жалоб, из-за чего ей приходилось в отчаянии отводить взгляд куда-нибудь в окно или, уставившись в собственные колени, лихорадочно искать то самое прекрасное объяснение, которое могло бы положить конец всем пересудам, — и не находить его. Мэри пришлось уйти, в гостиной ждали сливок.

С десяток соседок сидели в гостиной, рассеянно вертя в руках шарики, которые дети доверили им на сохранение. Оттого что детишки на этой улице были так малы, а еще оттого, что собираться по-соседски считалось делом хорошим, оздоравливающим общую атмосферу, на большинство детских праздников по случаю дня рождения вместе с детьми приглашались и мамы. Женщины, которые видели друг друга ежедневно, теперь надели серьги, чулки и юбки, уложили волосы и накрасились. Тут были и некоторые отцы — Стив, муж Эдит, и еще несколько приглашенных на кружечку пива, все в рабочей одежде. Предложенная тема была из немногих, в равной

степени интересных как мужской, так и женской аудитории.

— А я скажу, что бы я сделал, если бы рядом с моим домом оказалось такое, — сказал Стив, благодушно ухмыляясь в усы. — Я бы послал туда своих ребятишек поиграть со спичками.

— Очень смешно, — сказала Эдит. — Шутки в сторону. Тебе все хиханьки, а я вот пытаюсь что-то сделать. Я даже позвонила в муниципалитет.

— И что они сказали? — спросила Мэри Лу Росс.

— Ну, я спросила, не могут ли они заставить ее хотя бы покрасить его или снести пару сараев, а они ответили, что нет, не могут. Я им говорю: «Но должна же быть какая-то управа на этих людей?» А они мне: «Мы понимаем ваши *чувства* и очень, *очень сожалеем*...»

— Но — отказали?

— Да.

— А что там насчет кур, я полагала...

— Нет, нам с вами они не позволят разводить кур, но у нее есть какое-то специальное разрешение и на это... забыла, как оно называется.

— Вот возьму и не стану у нее покупать, — сказала Джейни Нигер. — В супермаркете дешевле, а свежие не свежие — да кого это теперь волнует?

Но, господи, до чего же там воняет! Я сказала Карлу: ладно, я смирилась с тем, что мы живем посреди стройки, но мне и в голову не приходило, что мы поселимся рядом со скотным двором.

— Через дорогу вонь чувствуется еще сильнее. Я все думаю, и зачем мы вообще старались, заказывали венецианское окно? Когда к нам приходят гости, мне приходится плотно задергивать шторы, чтобы никто не видел это безобразие напротив.

— Ладно-ладно, — сказал Стив, тяжело продираясь сквозь многоголосый женский хор. — Мы тут с Карлом как раз хотели вам кое-что рассказать. Если удастся провернуть дело с новой дорогой, то старухе придется убраться. Все просто и по закону — красота!

— Что за новая дорога?

— Вот до чего мы додумались. Мы с Карлом мозговали над этим недели две, но никому не говорили, чтобы не сорвалось. Расскажи, Карл.

— Ну, на месте ее дома могли когда-то запланировать новый проезд, вот и все, — сказал Карл, коренастый, серьезный, успешный торговец недвижимостью. — Я решил это проверить, пошел в муниципалитет, поднял бумажки — и так оно и оказалось.

— И что это означает, пупсик? — спросила Джейни запросто, по-семейному.

— Это значит, — пояснил Карл, — что существует разрешение на прокладку нового проезда, оно всегда было. По идее, если район застраивается, нужно проложить новую дорогу. Правда, никто не думал, что до этого дойдет, вот каждый и строил как бог на душу положит. Часть ее дома и полдюжины времянок стоят как раз на том месте, где должна проходить эта новая дорога. И вот что мы сделаем: мы заставим муниципалитет проложить эту дорогу. Она нам не помешает в любом случае. А старухе придется съехать. Все законно.

— А она что-нибудь получит? — спросила Мэри Лу. — Мне тоже мерзко смотреть на все это, но я не хочу, чтобы кто-то попал в богадельню.

— О, она получит компенсацию. Больше, чем это все стоит. Слушайте, это все для ее же пользы. Ей заплатят за дом, который она все равно не смогла бы продать, — его и даром никто не возьмет.

Мэри поставила кофейную чашку, прежде чем заговорить, надеясь, что голос ее не подведет, не задрожит, выказав эмоции или страх.

— Но вы забыли, что она живет здесь уже много-много лет, — сказала она. — Она жила здесь

задолго до рождения многих из нас, большинства из нас.

Мэри отчаянно пыталась подобрать еще какие-то слова — слова более весомые и убедительные, чем эти. Нельзя было на волне благих намерений выпалить что-нибудь, что эти люди сочли бы зыбким и романтичным, тогда всем ее доводам грош цена… Да и не было у нее доводов. Думай она хоть ночь напролет, у нее не нашлось бы слов, которые она могла бы противопоставить их словам — словам, напирающим со всех сторон: «лачуга», «бельмо на глазу», «грязища», «имущество», «стоимость»…

— Ты и вправду считаешь, что люди, которые доводят свое имущество до такого плачевного состояния, имеют право выдвигать какие-то претензии? — сказала Джейни, почуяв, что на план ее мужа покушаются.

— Она прожила здесь сорок лет, теперь мы поживем, — сказал Карл. — Вот так. Если хотите знать, от одного только факта, что эта лачуга стоит на нашей улице, стоимость всех окрестных домов на вторичном рынке падает. Я сам в этом бизнесе — мне ли не знать.

Тут вступили новые голоса. Не важно, что именно говорили, но в людях клокотала яростная

решимость отстаивать свои права. В этом была их сила, если уж на то пошло, это было доказательство их зрелости и серьезности. Гневный дух бушевал среди них, взвинчивая молодые голоса, объединяя всех, захлестывая, будто пьянящий шквал, и они восхищались поведением друг друга в этой новой ипостаси собственников, как только пьяные способны восхищаться своими собутыльниками.

— Сегодня вроде бы как раз все здесь, — сказал Стив, — не придется от двери к двери ходить.

Было время ужина, на улице темнело. Все собирались по домам, мамы застегивали детские пальтишки, дети без особого восторга сжимали в руках воздушные шарики, свистки и бумажные кульки с карамельками. Они больше не ссорились, они уже почти не замечали друг друга, праздник сошел на нет. Взрослые тоже успокоились, устали.

— Эдит! Эдит, есть ручка?

Эдит принесла ручку, и они разложили составленную Карлом петицию прямо на обеденном столе, расчистив место среди бумажных тарелок с высохшими потеками от мороженого. И все стали подписывать — механически, прощаясь перед уходом. Стив все еще слегка хмурился, Карл стоял,

одной рукой придерживая бумагу, — деловито, но не без гордости. Мэри опустилась на колени перед Денни, сражаясь с неподатливой молнией на его курточке. Потом она встала, надела пальто, пригладила волосы, натянула перчатки, потом опять сняла. Так и не придумав, что еще она могла бы сделать, Мэри прошла мимо обеденного стола и направилась к выходу. Карл протянул ручку и ей.

— Я не могу это подписать, — сказала она, а щеки у нее вдруг вспыхнули, голос предательски задрожал.

Стив взял ее за плечо:

— Что случилось, дорогуша?

— Я не считаю, что у нас есть на это право. Мы не имеем права так поступать.

— Мэри, неужели тебе все равно, как это выглядит? Тебе ведь здесь жить.

— Мне все равно.

Удивительное дело, когда мы воображаем себе, как отстаиваем правое дело, голос у нас звенит, а люди замирают, пристыженные, а на деле — они только усмехаются по-особому, и ты вдруг соображаешь, что тебе с наслаждением будут перемывать косточки на ближайшей вечеринке за чашечкой кофе.

— Не беспокойся, Мэри, у нее есть счет в банке, — сказала Джейни. — Наверняка есть. Я как-то попросила ее посидеть с ребеночком, так она чуть ли мне в лицо не плюнула. Она вовсе не безобидная старушка, чтоб ты знала.

— Я знаю, что она не безобидная старушка, — ответила Мэри.

Стив все еще держал ее за плечо:

— Эй, мы кто, по-твоему? Сборище людоедов?

— Мы это делаем не просто из желания поразвлечься, — подхватил Карл. — Да, прискорбно. Мы все это понимаем. Но надо думать об интересах сообщества.

— Да, — ответила Мэри, но спрятала руки в карманы и повернулась к Эдит, чтобы сказать: — Спасибо, Эдит, спасибо за чудесный детский праздник.

Ей подумалось, что они правы, по-своему правы, — как бы то ни было, они делали то, что считали нужным. А миссис Фуллертон уже стара, и у нее безжизненный взгляд, и ничто ее не трогает. Мэри взяла Денни за руку и пошла вдоль по улице. Окна гостиных занавесили шторами: каскады цветов и листьев, какие-то геометрические узоры отгородили комнаты от ночи. Снаружи был почти полный мрак, белые дома поблекли,

облака рвались и распадались, дым клубился над трубой миссис Фуллертон. Картинка Цветущего Сада, такая выпуклая при дневном свете, в ночи будто вжалась в чернеющий горный кряж.

Голоса, наверное, уже улетучились из гостиной, думала Мэри. Ах, пусть бы вместе с голосами улетучились их планы, пусть бы они оставили свою затею! Но эти люди привыкли побеждать, и это хорошие люди: они создают дома для своих детей, они помогают друг другу в беде, они строят сообщество и произносят это слово так, будто в нем сосредоточено новейшее безупречное волшебство и ошибка просто невозможна.

И все, что тебе остается, — это спрятать руки в карманы, а недовольство — поглубже в душе.

Образы

Когда пришла Мэри Маккуод, я сделала вид, что не помню ее. Кажется, это было самым разумным решением. Сама она сказала:

— Короткая же у тебя память, раз ты меня не помнишь, — но предпочла в этот вопрос не углубляться, заметив лишь: — Могу поспорить, что прошлым летом ты не бывала в бабушкином доме. И могу поспорить, этого ты тоже не помнишь.

Даже тем летом этот дом назывался «бабушкиным домом», хотя дедушка был еще жив. Его отселили и заперли в самой большой спальне со стороны фасада. Окна в ней закрывались изнутри деревянными ставнями, так же как в столовой и гостиной. В других спальнях имелись только жалюзи. К тому же веранда защищала комнату от света, так что дедушка весь день лежал почти в полной темноте. Дедушка с белоснежными волосами, теперь чисто вымытыми и ухоженными, лежал в своей белой ночной сорочке среди белых подушек в темной комнате и казался в ней островом, к которому люди приближались не без

робости, но неуклонно. Мэри Маккуод, одетая в униформу, была другим островом в этой комнате и сидела чаще всего неподвижно рядом с вентилятором, который устало перемешивал воздух, словно густой суп. Наверное, там было слишком темно, чтобы читать или вязать, даже если предположить, что Мэри хотела бы этим заняться, так что она просто ждала и дышала, будто подражая вентилятору, издававшему неразборчивые звуки, полные застарелых жалоб неизвестно на что.

Я была совсем маленькой, и днем меня укладывали спать в детскую кроватку — не такую, как дома, а в ту, что была приготовлена специально для меня у бабушки, — в комнате в конце коридора. Здесь не было вентилятора, и заоконное великолепие поля, расстилающегося под солнцем прямо вокруг дома и стекающего к бриллиантовой воде, так и сквозило во все щелки филенчатых штор. Ну как тут уснешь? Голос мамы, голоса теток и бабушки ткали свой обычный узор то на веранде, то на кухне, то в столовой (где мама щеткой с латунной ручкой смахивала с белой скатерти крошки, а незажженная люстра над круглым столом свисала гроздьями цветов из толстого карамельного стекла). Все в этом доме: завтраки, обеды и ужины, готовка,

приемы гостей, разговоры, даже чья-то игра на фортепиано (это моя младшая незамужняя тетка Эдит поет и одним пальцем подбирает «Нита, Хуанита, светит нежная луна») — вся домашняя жизнь идет своим чередом. Только потолки тогда были страшно высокими, и под ними было столько сумрачного, нетронутого пространства, что, лежа в своей кроватке — чересчур жаркой, чтобы спать, — я поднимала глаза и глядела в пустоту, в затененные углы и чувствовала, сама того не ведая, то же самое, что чувствовали, наверное, все в этом доме: присутствие смерти, крошечной магической льдинки среди потной жары. И присутствие Мэри Маккуод, в белом накрахмаленном халате, громадной и угрюмой, словно айсберг, — Мэри ждет неумолимо, ждет и дышит. Я считала ее виноватой.

И вот я притворилась, что не помню ее. На ней не было ее белого форменного халата, но это не сделало ее менее опасной, может быть, она вызывала обыкновенную неприязнь, по крайней мере до тех пор, пока не пришло время ее полной власти. При свете дня, без белой униформы, было заметно, что она вся в веснушках, куда ни глянь, как будто ее обсыпали толокном, а на голове у нее красовался венец из вьющихся сверкающих

волос натурального латунно-рыжего цвета. Голос у нее был громкий, хриплый и вечно недовольный.

— Мне что, самой вывешивать все это белье? — орала она мне со двора, и я шла за ней к бельевым веревкам. Там она, не переставая ворчать, ставила на землю корзину с мокрым бельем. — Подавай мне прищепки. По одной. Надо подавать в правую руку. Мне вообще нельзя находиться на таком ветру, у меня бронхит.

Рука свешивалась, будто животное, прикованное у Мэри на боку, а я кормила это животное прищепками. На улице, на свежем мартовском воздухе, Мэри утратила отчасти свой вес и свой запах. В доме я всегда чувствовала ее запах, даже в тех комнатах, куда она редко заглядывала. На что он был похож? Это был металлический запах с примесью какой-то пряности (гвоздики — у нее и вправду часто болели зубы), и еще он был похож на бальзам, которым растирали мне грудь, когда я простужалась. Однажды я обмолвилась об этом маме, а она ответила:

— Не болтай ерунду, я не чувствую никакого запаха.

Так что о привкусе я никому даже не заикалась. А привкус тоже был. Он чувствовался во всех

блюдах, которые готовила Мэри Маккуод, и, кажется, во всех блюдах, которые мне приходилось есть в ее присутствии, — в овсянке на завтрак, в жареной картошке, в ломтиках хлеба с маслом, в коричневом сахаре, которым она угощала меня во дворе, — чужой, отвратный, гнетущий. Разве могли мои родители не знать об этом? Но по каким-то лишь им понятным причинам они притворялись, что ничего не знают. Год назад и я ничего не знала.

Развесив белье, Мэри села парить ноги. Они, словно круглые водосточные трубы, поднимались из дымящегося таза. Упершись руками в колени, она наклонилась над паром и хрюкнула от боли и удовольствия.

— А вы — медсестра? — спросила я, набравшись смелости, хотя мама уже говорила, кто она такая.

— Да, я медсестра, к большому моему сожалению.

— И вы моя тетя?

— Будь я твоей тетей, ты бы звала меня тетя Мэри, правда? Но ты меня так не называешь. Я твоя двоюродная тетка — кузина твоего отца. Потому-то они и позвали меня, а не какую-нибудь другую, обычную медсестру. Я практикующая сиделка.

В нашей семье всегда кто-нибудь болен, и мне приходится за ними ухаживать. Ни дня отдыха.

Я сомневалась в этом. Сомневалась, что ее позвали. Пришла, готовит что хочет, все подстраивает под себя, жалуется на сквозняки и хозяйничает в этом доме напропалую. Не появись она здесь, мама никогда не слегла бы!

Мамину кровать поставили в столовой, чтобы избавить Мэри Маккуод от необходимости взбираться по лестнице. Волосы у мамы были заплетены в две тоненькие и короткие темные косички, щеки у нее были землистого цвета, влажная шея, как обычно, пахла изюмом, но все остальное, скрытое под одеялом, превратилось во что-то большое, таинственное, слабое и неповоротливое. Она говорила о себе понуро, в третьем лице:

— Осторожно, не сделай маме больно, не сядь на мамины ноги.

Каждый раз, когда она произносила слово «мама», меня пробирал озноб, я чувствовала, как меня охватывает такое же чувство безысходности и стыда, какое я всегда испытывала при звуке имени Иисуса. Эта «мама», которую моя родная, теплая, вспыльчивая и отходчивая человеческая мама поставила между собой и мной, эта «мама»

была фантомом с вечно кровоточащими ранами, скорбящим, как и Он, обо всех моих еще не свершенных, еще неведомых мне прегрешениях.

Мама вывязывала крючком квадраты для афганского пледа, квадраты эти были всех оттенков фиолетового. Они терялись в постели, но мама не обращала на это внимания. Закончив вязать очередную деталь, она тут же забывала о ней. Она забыла все свои истории о принцах в Тауэре, о королеве, которой отрубили голову, а в это время в складках ее платья пряталась собачонка, и о другой королеве, высасывавшей яд из раны своего супруга, и все истории из ее собственного детства, которые были для меня не менее легендарными, чем остальные. Отданная на попечение Мэри, мама хныкала совсем по-детски:

— Мэри, я бы сейчас все отдала, только бы ты размяла мне спину… Мэри, пожалуйста, сделай мне чайку. Я вот сейчас выпью еще чашечку и взлечу до потолка, словно большой воздушный шар, ты же знаешь, мне только того и надо.

Мэри отвечала ей со смешком:

— Да уж, ты взлетишь до потолка. Нужен подъемный кран, чтобы сдвинуть тебя с места. Ну-ка, приподнимись… прежде чем тебе полегчает, должно стать хуже!

Она согнала меня с кровати и принялась расправлять простыни, отпуская не слишком-то нежные шутки:

— Опять утомила свою мамашу? И чего тебе сидеть у мамашки на голове в такой погожий день.

— Мне кажется, она скучает, — сказала мама; слабая и неискренняя защита…

— С тем же успехом она может поскучать и во дворе, — сказала Мэри с величественным, смутным и угрожающим видом. — Давай-ка одевайся и марш отсюда!

Отец тоже переменился с появлением Мэри. Когда он приходил поесть, Мэри всегда была тут как тут, приготовив для него какой-нибудь розыгрыш. Она раздувалась, как жаба, — вид у нее становился свирепый, лицо багровело. Как-то раз она положила ему в суп пригоршню сырой фасоли, твердой, как галька, и ждала, будет ли он из вежливости пытаться ее прожевать. Она приклеила на дно его стакана с водой что-то похожее на муху, подсунула ему якобы случайно вилку, у которой отвалился один из зубцов. Отец метнул эту вилку в нее, промахнулся, но изрядно меня напугал. Мама и папа за ужином вели разговоры тихие и серьезные. Но в папином семействе даже взрослые разыгрывали друг друга с помощью

резиновых жуков и червей, толстым тетушкам услужливо подставляли крохотные хлипкие стульчики, а дядюшки многозначительно призывали всех прислушаться: «Эй, погодите-ка!» — а затем пускали шептуна с таким гордым видом, словно им удалось высвистать сложнейшее соло. Никто не мог просто спросить, сколько мне лет, не отпустив по этому поводу какой-нибудь несусветной остроты. Так что с Мэри Маккуод отец вернулся в свою родную стихию, и еще он вернулся к любимым блюдам: горам жареной картошки, бараньему боку и пышным пирогам, запивая все это крепким, как зелье, чаем в жестяном заварочном чайнике и приговаривая:

— Ну, Мэри, ты знаешь, что должен есть настоящий мужчина! — И тут же добавлял: — Не пора ли тебе уже завести собственного мужика и откармливать его? — И в него тут же запускали — нет, не вилкой — кухонным полотенцем.

Он всегда дразнил Мэри на тему замужества.

— Сегодня я нашел для тебя кое-кого подходящего, — заявлял он. — Нет, Мэри, я серьезно, тебе надо это хорошенько обдумать.

Смех прорывался сквозь ее плотно сжатые губы короткими сердитыми выдохами, лицо Мэри багровело до чрезвычайности, а тело содрогалось

и подпрыгивало вместе со стулом, на котором она сидела. Ей, без сомнения, страшно нравилось все это — все это нелепое воображаемое сводничество, хотя мама сказала бы, что это жестоко: жестоко и непристойно шутить со старой девой о мужчинах. Но в отцовском семействе всегда только этим ее и дразнили, а как же иначе, скажите на милость? И чем грубее и тяжелее, чем несноснее она становилась, тем сильнее над ней изгалялись. Горе тебе, если эти люди скажут, что *ты ранима,* а именно такой считалась у них моя мама. Все тетки, дяди и кузины выросли, закаленные против любой персональной жестокости, стойкими к любым осечкам, и даже гордились, если их неудачи и недостатки вызвали всеобщий смех.

Несмотря на то что дни удлинялись, за ужином в доме было уже темно. Тогда у нас еще не провели электричество. Оно вот-вот должно было появиться — наверное, уже на следующее лето. Но в то время на столе стояла керосиновая лампа. При ее свете отец и Мэри Маккуод отбрасывали гигантские тени, головы у теней неуклюже болтались, когда они разговаривали или смеялись. Вместо того чтобы смотреть на людей, я разглядывала эти тени.

— О чем это ты размечталась? — спрашивали меня.

Но я не мечтала, я пыталась осознать, откуда исходит угроза, прочитать тайные знаки вторжения.

Отец спросил:

— Хочешь, пойдем вместе проверим капканы?

Он ставил на реке капканы на ондатру. В молодости папа неделями день и ночь проводил в зарослях, двигаясь вверх и вниз вдоль притоков реки Уауанаш. И ловил он не только ондатру, но и рыжую лису, норку, куницу — всех пушных зверей, которые к осени обрастали самым лучшим мехом. Ондатра — единственное животное, которое можно добывать весной. Теперь отец был женат и обременен хозяйством, он держал только одну сеть капканов, да и то недолго — всего пару лет. Этот год, наверное, был последним.

Мы прошли через поле, распаханное еще осенью. В бороздах скопилось немного снега, и не снег это был на самом деле, а тонкий, похожий на стекло в морозных узорах ледок, который приятно хрустел у меня под каблуками. Поле отлого спускалось с холма в низину реки. Забор кое-где покосился под тяжестью снега, и мы через него перешагнули.

Отцовские сапоги прокладывали дорогу. Сапоги эти были для меня такими же уникальными и знакомыми, как его лицо, они были такой же неотъемлемой его частью. Когда он снимал их, они стояли на кухне в углу, благоухая сложной смесью запахов навоза, машинного масла, присохшей черной грязи и прелых истлевших стелек. Они были частью его самого, ненадолго отвергнутой, ждущей своего часа. Вид у сапог был упрямый и бескомпромиссный, даже жестокий, и мне казалось, что они — полная противоположность отцовского лица, всегда улыбчивого и вежливого. Не то чтобы эта жестокость была для меня неожиданностью. Там, куда отец уходил и откуда возвращался к нам с мамой, могли существовать свои правила, отличные от наших.

Вот, к примеру, ондатра в капкане. Сначала я увидела, как она дрейфует у кромки воды, похожая на какой-то тропический темный папоротник. Отец вытащил ее, ворсинки перестали двигаться, слиплись, и папоротник оказался хвостом, к которому было прикреплено тело водяной крысы, гладкое, сочащееся каплями. Зубы ондатры торчали наружу, влажные глаза были мертвыми и тусклыми в глубине и блестели, как мокрая галька. Отец встряхнул крысу и покрутил

ею в воздухе, мелким дождичком рассыпав вокруг ледяную речную воду.

— Отличная старая крыса, — сказал он. — Матерый, старый король ондатр. Гляди, какой хвостище!

Потом, решив, наверное, что мне не по себе, а может быть, просто желая посвятить меня в чудеса простого, но замечательного механизма, отец вынул капкан из воды и объяснил мне, как он действует, мгновенно захватывая голову ондатры и милосердно утапливая ее под водой. Я не поняла, да мне было и неинтересно. Единственное, что я хотела, но не осмелилась сделать, — потрогать окоченевшее мокрое тело, доказательство смерти.

Отец снова заправил капкан, положив в него наживку — несколько кусочков желтого сморщенного зимнего яблока. Трупик ондатры он засунул в мешок, а мешок перекинул через плечо, как мелочной торговец на картинке. Пока он нарезал яблоко, я рассматривала свежевальный нож, его тонкое блестящее лезвие.

Мы пошли вдоль берега реки — реки Уауанаш, полноводной, быстрой, серебряной посредине, — там, где солнце озаряло самую ее стремнину «Это течение», — думала я, и течение рисовалось

в моем воображении как нечто отделенное от воды, как ветер отделен от воздуха, обладая собственной, вторгающейся в тебя формой. Крутой и скользкий берег обрамляли заросли плакучей ивы, еще безлистой и бессильно поникшей, как трава. Рокот реки был негромким, но насыщенным, казалось, что он исходит из самых ее глубин, из некоего потаенного места, где река с ревом вырывается из-под земли.

Река петляла, и я потеряла ощущение направления. В других капканах мы нашли еще ондатр, вытащили их, стряхнули и спрятали в мешок, а капканы перезарядили. У меня окоченело лицо, окоченели руки и ноги, но я не признавалась в этом. Я не могла. Отцу — не могла. А он никогда не предостерегал меня держаться подальше от края воды, он априори считал, что у меня достаточно здравого смысла, чтобы не свалиться. Я никогда не спрашивала, как далеко мы идем и скоро ли кончатся капканы. Наконец заросли остались позади. Вечерело. Мне тогда, да и после долгое время, не приходило в голову, что это те же самые заросли, которые видно с нашего двора, — веерообразный холм, а посреди него голые деревья, в ветреный день казавшиеся тоненькими прутиками на фоне неба.

Теперь по берегам вместо ив стояли кусты выше моего роста. Я осталась на тропинке на полпути к берегу, а отец спустился к воде. Нагнувшись за капканом, он пропал из виду. Я не спеша огляделась и увидела кое-что еще. Впереди, чуть выше по берегу, спускался человек. Он бесшумно пробирался сквозь кусты и двигался так легко, словно под ногами у него пролегала невидимая тропа. Сначала я видела только его голову и верхнюю часть туловища. Человек был смуглый, с высоким лбом в залысинах и длинными волосами, зачесанными назад, лицо прорезали глубокие вертикальные морщины. Кусты поредели, и я увидела его целиком: его длинные ловкие ноги, его худобу, невзрачную маскировочную одежду и то, что он нес в руке, поблескивающий на солнце предмет — небольшой топорик или тесак.

Я не сдвинулась с места, чтобы предупредить или позвать отца. Мужчина шел мне наперерез чуть впереди, неуклонно приближаясь к реке. Говорят, что людей парализует страх, но я просто оцепенела, будто меня поразила молния, и не страх сковал меня, а скорее узнавание. Я не удивилась. Бывает, что увиденное тебя не удивляет, то, о чем ты всегда знал, является перед тобой так естественно, двигается так ловко, с удоволь-

ствием, не торопясь, как будто оно сотворилось в первую очередь по твоему велению, из твоего ожидания чего-то окончательного, леденящего кровь. Я всю жизнь знала, что где-то есть такой человек, за дверью, за углом, в темном дальнем конце коридора. И вот теперь я его увидела и просто ждала, как дитя на старом негативе, похожее на электрическую вспышку на фоне темного послеполуденного неба, с пылающим нимбом волос и выжженными глазами сиротки Энни. Мужчина нырнул в гущу зарослей, направляясь в папину сторону. И я почему-то сразу подумала про самое худшее.

А отец его не видел. Когда он выпрямился, мужчина был всего в трех футах от папы и заслонил его от меня. Я услышала папин голос после минутного замешательства, голос спокойный и дружелюбный:

— Привет, Джо! Надо же, Джо! Давненько я тебя не видел.

В ответ ни слова. Мужчина просто приблизился к отцу вплотную, вглядываясь в его лицо.

— Да ты меня знаешь, Джо, — сказал отец. — Я Бен Джордан. Проверял тут свои капканы. В этом году на реке много отличных ондатр, Джо. — (Мужчина бросил быстрый недоверчивый взгляд

на капкан, который заряжал отец.) — Ты бы взял да и сам поставил парочку. — (Ответа не было. Тесак коротко рассек воздух.) — Впрочем, в этом году уже поздновато, река уже стронулась.

— Бен Джордан, — произнес мужчина с огромным усилием, словно заика, преодолевающий свой недуг.

— Я думал, ты узнал меня, Джо.

— Не знал, что это ты, Бен. Я думал, это кто-то из Сайласов.

— Говорю же, это я.

— Они вечно ошиваются тут и рубят мои деревья, валят заборы. Знаешь, а ведь это они меня подпалили, Бен. Это все они.

— Я слыхал об этом.

— Я не знал, что это ты, Бен. Не знал. У меня есть этот тесак, я просто взял его с собой, чтобы маленько их припугнуть. Кабы я знал, что это ты, Бен, я бы им не махал. Пошли, посмотришь, где я теперь живу.

Отец позвал меня.

— Это моя малявка, помогает мне тут сегодня.

— Ну тогда пойдемте, погреетесь у меня оба.

Мы пошли за мужчиной, который по-прежнему небрежно помахивал топориком на ходу, вверх по склону и через кустарник. Воздух в зарослях

был холоднее, под кустами лежал настоящий снег в два, а то и три фута глубиной. Стволы деревьев опоясывали кольца, изысканные темные круги, какие, бывало, надышишь на заиндевевшем стекле.

Мы вышли на просеку с пожухлой травой и направились по дорожке напрямик к другой, более широкой полянке, на которой виднелось нечто торчащее из земли. Это была односкатная крыша без конька, из нее прорастала труба с колпаком на верхушке, над трубой вился дымок. Мы спустились по земляным ступеням, ведущим в погреб, — да, это был настоящий погреб, только с крышей. Отец спросил:

— Похоже, ты здорово тут обустроился, Джо?

— Она теплая. Это ж землянка, тепло держит неплохо. Я подумал, что проку снова строить дом, они спалили его один раз и снова спалят. Да и к чему мне дом? Мне и здесь не тесно, я тут все удобно устроил.

Ступени кончились, и хозяин толкнул дверь:

— Береги голову. Я не говорю, что все должны поселиться в норах, Бен. Хотя вот живут же звери, а у них есть чему поучиться. Но вот если ты семейный, то тут другой разговор. — Он хохотнул. — А я-то, я жениться не собираюсь.

Было сумрачно, но не кромешный мрак. Старые подвальные окошки цедили тусклый свет. Хозяин все же зажег керосинку и поставил ее на стол:

— Теперь хоть можно разглядеть, куда вы попали.

В погребе была единственная комната с земляным полом, на котором лежали широкие доски, не скрепленные между собой, просто брошенные на землю, чтобы ходить по ним, печка, установленная на чем-то вроде помоста, стол, топчан, табуретки и даже буфет, несколько грубых и весьма замызганных одеял, похожих на попоны, которыми покрывают лошадей. Наверное, если бы не ужасная вонь — смесь керосина, мочи, земли и тяжкого духа затхлости, то я и сама была бы не прочь пожить в такой землянке — она напоминала мне те халабуды, которые я рыла в сугробах зимой, меблируя чурбаками и полешками для растопки, и еще она походила на то жилище, которое я устроила под верандой давным-давно, под ногами у меня там был странный мучнистый пол, не знавший ни дождя, ни солнечного света.

Но я была настороже, сидя на грязном топчане и притворяясь, что не смотрю по сторонам.

— У тебя тут уютно, Джо, это хорошо, — сказал

отец.

Джо сидел за столом, тут же, на столе, лежал тесак.

— Видел бы ты меня зимой, пока снег не начал таять. Ничего не было видно, только дымок из трубы.

— Тебе не одиноко?

— Только не мне. Мне не бывает одиноко. И у меня же есть кот, Бен. Где он, кстати? Вон он — за печкой. — С этими словами Джо выволок из-за печки громадного серого облезлого кота с угрюмым взглядом. — Показать, что он умеет?

Он взял из буфета стеклянную банку, что-то налил из нее в блюдце и поставил перед котом.

— Кот же не станет пить виски, а, Джо?

— Погоди — и увидишь.

Кот встал, неохотно потянулся, зыркнул недобрым глазом вокруг, наклонился над блюдцем и начал лакать.

— Неразбавленный виски! — сказал отец.

— Спорим, ты такого еще не видал. Этот кот предпочитает виски молоку. Правда, молока он давно не нюхал, он забыл, что это такое. Выпьешь, Бен?

— Кто знает, откуда ты его берешь, Джо. У меня не такой луженый желудок, как у твоего кота.

Кот допил и боком пошел прочь, помедлил минуту, потом подпрыгнул и приземлился неуверенно, но не упал. Он покачнулся, несколько раз махнул лапами в воздухе, отчаянно мяукнул и скрылся под лежанкой.

— Если будешь продолжать в том же духе, ты угробишь своего кота, Джо.

— Ему нипочем, он это любит. Так, посмотрим, чем бы нам угостить твою малышку.

Я надеялась, что у него ничего нет, но он вытащил жестянку с рождественскими леденцами, которые, похоже, несколько раз таяли и застывали, слипаясь друг с другом, так что цветные полоски с них напрочь исчезли. На вкус они были как гвозди.

— Эти Сайласы, они изводят меня, Бен. Шастают день и ночь. Эти люди не дают мне покоя. Ночью я слышу, как они лазают по крыше. Ты, Бен, как увидишь Сайласов этих, так ты скажи им, Бен, что они у меня дождутся! — Он схватил тесак и воткнул его в стол, прорвав сгнившую клеенку. — У меня и дробовик есть.

— А может, они больше тебя не потревожат, Джо.

Джо застонал и затряс головой:

— Нет, они никогда не отстанут.

— Просто не обращай на них внимания, им надоест, и они уберутся.

— Они сожгут меня, пока я буду спать. Они уже пробовали раньше.

Отец ничего не сказал, но провел пальцем по краю лезвия. Под лежанкой кот шерудил лапами и мяукал все слабее, все недоуменнее. Разомлев от усталости в тепле после холода, переполненная невыносимыми впечатлениями, я спала с открытыми глазами. Отец растолкал меня:

— Давай просыпайся. Подъем. Ты же понимаешь, что я не унесу и тебя, и этот мешок с ондатрами.

Мы взошли на вершину холма, и только там я проснулась. Смеркалось. Перед нами расстилался весь бассейн реки Уауанаш — зеленовато-коричневые кляксы кустов, еще не обросших листвой, и вечнозеленого кустарника, темного, истрепанного за зиму, прозрачного; поля с побурелой стерней, и еще поля — темные, распаханные с осени, покрытые тонкой блестящей изморозью (как те, через которые мы шли много-много часов назад), и крохотные оградки, и колонии серых амбаров и домиков, издали казавшихся приземистыми, маленькими.

— А ну, чей это дом вон там? — спросил отец,

указывая рукой на один из них.

Наш! Не сразу, но я его узнала. Мы сделали полукруг и теперь видели дом с той стороны, которую никто не видал зимой; передняя дверь запиралась с ноября по апрель и все еще была заткнута тряпками по краям, чтобы защититься от восточного ветра.

— До него не больше полумили, причем под горку. Идти всего ничего. Скоро мы увидим свет в столовой, где лежит твоя мамочка.

По дороге я спросила:

— А зачем ему тесак?

— Вот что, — ответил отец. — Слушай меня внимательно: он никому не причинит вреда этим тесаком. Просто у него такая привычка, всюду носить его с собой. Но никому дома об этом не рассказывай. Ни слова — ни маме, ни Мэри. Потому что они могут испугаться. Мы-то с тобой не боимся, но они могут, а зачем нам это нужно?

Чуть погодя он спросил:

— Так о чем ты должна молчать?

И я ответила:

— О тесаке.

— Ты ведь не испугалась его, правда?

— Нет, — сказала я обнадеживающе. — А кто собирается его поджечь во сне?

— Да никто. Если он сам себя не спалит, как в прошлый раз.

— А кто такие Сайласы?

— Никто, — ответил отец. — Нет таких.

— Мы тут сегодня, Мэри, женишка для тебя присмотрели. Жаль только, не смогли притащить его домой.

— Мы уже решили, что вы свалились в реку, — ответила Мэри Маккуод, свирепо сдергивая с меня промокшие ботинки и носки.

— Помнишь старину Джо Фиппена, который живет на ничейной земле за лесом?

— Этот? — взорвалась Мэри. — Да он спалил свой дом. Знаю я его!

— Вот именно, а теперь он прекрасно устроился и без дома. Вырыл себе нору и живет в ней. Ты бы, Мэри, устроилась там уютно, как сурчиха.

— Могу поспорить, он по уши грязью зарос.

Она накрыла стол, и отец за ужином рассказал ей историю про Джо Фиппена, про погреб с крышей, про дощатый настил на земляном полу. Он умолчал про тесак, но рассказал о коте, лакавшем виски. С Мэри и этого хватило.

— Людей, которые творят такое, надо держать под замком.

— Может, и так, — согласился отец. — Но все-

таки я надеюсь, что его пока не тронут. Старину Джо.

— Ешь, а то остынет, — сказала Мэри, наклонившись надо мной.

И я даже какое-то время не осознавала, что больше не боюсь ее.

— Ты только посмотри, — сказала она, — у нее глаза на лоб вылезли от того, чего она насмотрелась сегодня. Ей он тоже виски наливал?

— Ни капли, — ответил отец и пристально посмотрел на меня через стол.

И будто дети из сказки, видевшие, как их родители заключали сделки с ужасными незнакомцами, дети, открывшие, что все наши страхи основаны на правде, и только на правде, дети, которые, едва возвратившись домой после чудесного спасения, скромно и воспитанно берут в правую руку нож, а в левую — вилку, собираясь жить дальше долго и счастливо, потому что тайна ошеломила их и наделила могуществом, и вот, будто эти дети из сказки, я никогда никому и словом не обмолвилась о том тесаке.

Спасибо, что подбросили

Мы с моим двоюродным братом Джорджем сидели в ресторанчике под названием «Кафе у Папаши» в маленьком городишке у Озера. Уже темнело, подсветку еще не включили, но и так все еще можно было различить надписи, прилепленные на зеркале между засиженными мухами и слегка пожелтевшими аппликациями клубничного мороженого и сэндвичей с помидорами.

«Не спрашивайте у нас ни о чем, — прочитал Джордж. — Если бы мы что-то знали, нас бы здесь не было» и «Если вам нечего делать, то вы выбрали для этого чертовски подходящее место». Джордж читал вслух все подряд: плакаты, афиши, рекламные вывески крема для бритья и всякие «Мишн-Крик. Население тысяча семьсот человек. Ворота в Брюс. Мы любим своих детей!».

Мне было любопытно, чье чувство юмора доносят до нас эти надписи. Может, вон того мужика за кассой? Это и есть Папаша? Который жует спичку, обозревая улицу, а там только и увидишь, как кто-то спотыкается на трещине в тротуаре, или прокалывает шину, или выглядит идиотом, чего

самому Папаше, пустившему корни за кассой, огромному циничному и нелюбознательному Папаше в жизни не угрожает. Может, и не только в этом дело. Может, остальной мир подтвердил свою нелепость тем, что все время ходит и ездит взад и вперед, изучая достопримечательности. Ты видишь осуждение на лицах выглядывающих из окон или сидящих на крылечках жителей маленьких городов, они так глубоко-глубоко безразличны, словно у каждого имеется источник разочарования, который они с особым удовлетворением тайно холят и лелеют во мраке.

Единственная официантка — пухленькая девица, — облокотившись о прилавок, соскребала лак с ногтей. Сколупнув большую часть лака с большого пальца, она приложила ноготь к зубам и увлеченно потерла им туда-сюда. Мы поинтересовались, как ее зовут, но ответа не последовало. Минуты через две-три палец был извлечен изо рта, и девица произнесла, пристально изучая ноготь:

— Я-то знаю, а вы — угадайте.

— Ладно, — сказал Джордж, — ничего, если я буду звать вас Микки?

— Мне до лампочки.

— Потому что вы мне напоминаете Микки

Руни[1], — пояснил Джордж. — Эй, а куда все подевались в этом городе? Где все?

Микки повернулась к нам спиной и принялась отцеживать кофе. Похоже, она не собиралась больше разговаривать, поэтому Джордж слегка занервничал, как всегда, когда над ним нависала угроза одиночества или необходимости вести себя тихо.

— А что, девчонок в этом городе нет? — спросил он почти горестно. — Неужели нет в этом городе девушек, танцев каких-нибудь? Мы приезжие, — сказал он, — неужели вы нам не поможете?

— Танцплощадка на берегу закрыта до Дня труда[2], — холодно произнесла Микки.

— А что — других нет?

— Сегодня вечер в Уилсоновской школе, — сказала Микки.

— Это как в старые времена? Нет-нет, ни за что не пойду. «Две шаги налево, две шаги направо» и прочее, как же, помню, в подвале церкви это было. Ага, «шаг вперед и поворот», ни за какие

---

[1] Примечания: 1

Микки Руни (Джозеф Юл-мл., 1920–2014) — американский актер, который до Второй мировой войны успешно разрабатывал типаж бойкого, находчивого подростка.

[2] Примечания: 2

В первый понедельник сентября США и Канада празднуют День труда (Labor Day).

коврижки! — рассердился Джордж. — Ну, ты этого не помнишь, — сказал он мне, — молод еще.

Я тогда только закончил школу, а Джордж уже три года работал в отделе мужской обуви в Центральном универмаге — серьезная разница. Но в городе наши дорожки не пересекались. Теперь мы держались вместе потому, что неожиданно повстречались в незнакомом городе, и потому, что у меня было немного деньжат, а Джордж оказался на мели. И еще у меня была отцовская машина, а Джордж как раз переживал очередной «бесколесный» период, а в такие времена он всегда становился малость обидчивым и недовольным. Но ему пришлось чуть подправить эту неприятную для него реальность. Я чувствовал, что он фабрикует достаточное количество дружелюбия, строя из себя старого закадычного приятеля, а меня рядит в одежки «старины Дика», славного парня, своего в доску, — что, впрочем, не имело никакого значения, хотя, глядя на его нежно-поросячью блондинистую смазливость, наготу розового рта и нежданные гневливые складки, которыми частая озадаченность уже начала покрывать его чело, я сомневался, что смогу вообразить «старину Джорджа».

Я приехал на Озеро, чтобы забрать маму домой

из женского пансионата, где ей обеспечили фруктовые соки и творог для похудения, утренние купания в Озере и некоторое количество религии, поскольку при пансионате имелась и своя часовенка. Моя тетка — мама Джорджа — тоже как раз отдыхала там, и Джордж приехал где-то через час после меня, но не забрать свою маму домой, а взять у нее денег. С отцом у него были нелады, а в обувном отделе он зарабатывал не так уж много, так что очень часто сидел без гроша. Его мать сказала, что даст ему взаймы, если он останется до завтра и посетит вместе с ней службу в церкви. Джордж согласился. А потом мы с Джорджем проехали с милю вдоль Озера до этого вот городишка, в котором никто из нас до сих пор не бывал, но Джордж утверждал, что тут полно бутлегеров и девочек.

Это был город с широкими, не знавшими асфальта песчаными улицами и голыми дворами. Только такие выносливые создания, как желтые и красные настурции да кусты сирени с побуревшими скрученными листьями, отваживались расти из этой потрескавшейся почвы. Дома располагались на расстоянии друг от друга, при каждом имелись своя водяная колонка, сарай и скрытый от посторонних глаз задний дворик.

Большинство домов были деревянными, выкрашенными в зеленый, серый или желтый цвет. Здесь росли в основном ивы да тополя с тонкими, посеревшими от пыли листьями. На главной улице деревьев не было, но зато были пространства с высокой травой и цветущим чертополохом — пустыри между магазинами. Здание мэрии оказалось на удивление внушительным, с большим колоколом на башне. Ее краснокирпичные стены ярко выделялись на фоне бледных деревянных строений вокруг. Вывеска рядом со входом в башню гласила, что это мемориал памяти погибшим в Первой мировой войне. Мы попили воды из фонтанчика напротив.

Пока мы слонялись туда-сюда по главной улице, Джордж все возмущался:

— Ну и дыра! Господи, ну и дыра! Ты только погляди на это! Ай, как паршиво-то.

Народ спешил по домам на ужин, тени от магазинов густо устилали улицу, и вот мы зашли в заведение Папаши.

— Эй, — сказал Джордж, — а других ресторанов в этом городе нет? Ты хоть один видел?

— Нет.

— В других городишках, где я бывал, — сказал Джордж, — свиные туши висели прямо в витри-

нах, чуть ли не на деревьях болтались. А тут нет. Боже мой! Наверное, это все конец сезона, — сказал Джордж.

— Может, в кино сходим?

Дверь открылась. Вошла девушка и села на высокий барный стул, изрядно задрав и примяв юбку С вытянутым сонным лицом, плоской грудью, завитыми волосами, бледная и почти уродливая, девушка тем не менее испускала неожиданные токи сексуальности. Джордж оживился, хотя и не слишком.

— А впрочем… — сказал он, — сойдет и это на безрыбье. Сойдет и это, а? На безрыбье-то.

Он перешел к стойке, подсел к девушке и завел беседу. Минут через пять девушка уже сидела за нашим столиком и пила апельсиновую шипучку.

— Это Аделаида, — сообщил Джордж. — Аделаида, Аделина — Прекрасная Адель. Я буду называть ее Прекрасная А., Прекрасная А.

Девушка, не поведя и бровью, посасывала соломинку.

— Она никого не ждет сегодня, — сообщил Джордж. — Правда, радость моя, у тебя же нет свиданий сегодня?

Аделаида слегка тряхнула головой.

— Она не слышит и половины того, что ей говорят, — сказал Джордж. — Аделаида, Прекрасная А., нет ли у тебя какой-нибудь подружки? Какой-нибудь симпатичной малышки, погулять с нашим Дикки? Мы с тобой, а она — с Дикки?

— Смотря, — произнесла Аделаида, — куда вы хотите пойти.

— А куда скажешь. Покатаемся. Может, съездим в Оуэн-Саунд?

— Вы на машине?

— Да-да, мы на машине! Давай, у тебя же есть какая-нибудь милая подружка для Дикки. — Он обнял девицу за талию, пробежав пальцами по ее блузке. — Пошли, я покажу тебе нашу машину.

— Я знаю одну девушку, которая может прийти, — отозвалась Аделаида. — Парень, с которым она встречается, он помолвлен, так вот его невеста нагрянула и сидит с ним в доме на пляже, это дом его родителей, и…

— Это все ужасно ин-те-рес-но, — сказал Джордж, — и как ее зовут? Давай подскочим к ней и заберем ее. Ты собираешься весь вечер цедить свой лимонад?

— Я допила, — сказала Аделаида. — Она может и не поехать. Я не знаю.

— А почему? Ее мама не пускает гулять по ве-

черам?

— О, она сама себе хозяйка, — сказала Аделаида, — но вдруг она не захочет. Почем я знаю?

Мы вышли и сели в машину, Джордж и Аделаида облюбовали заднее сиденье. На главной улице, где-то в квартале от кафе, мы проехали мимо тоненькой светловолосой девушки в брюках, и Аделаида закричала:

— Эй, стой! Это она! Это Лоис!

Я сдал назад, а Джордж высунул голову в окно и свистнул. Аделаида позвала ее, и девушка без колебаний, не спеша направилась прямиком к машине. Она улыбалась довольно холодно и вежливо, пока Аделаида объясняла ей суть да дело. Все это время Джордж тараторил:

— Скорее полезайте в машину! Мы можем поговорить и внутри.

Девушка улыбнулась никому из нас не предназначенной улыбкой и через несколько секунд, к моему удивлению, открыла дверцу и шмыгнула в машину.

— Мне нечем заняться, — сказала она. — Мой друг в отъезде.

— Да ну? — сказал Джордж, и я увидел в зеркало заднего вида, как Аделаида скорчила сердитую предостерегающую гримасу.

Лоис, похоже, его не услышала.

— Надо бы заехать ко мне домой, — сказала она. — Я выскочила за газировкой в брюках, как есть. Поедем ко мне, и я переоденусь… Куда мы потом? — спросила она. — Чтобы я знала, как одеться.

— А куда бы вы хотели поехать? — спросил я.

— Ладно-ладно, — перебил Джордж. — Все по порядку. Сначала добудем пузырь, а потом решим. Не знаете, где тут можно разжиться?

Аделаида и Лоис в один голос сказали: «Да», и тогда Лоис предложила мне:

— Если хотите, можете зайти со мной и подождать, пока я переоденусь.

Я глянул в зеркало заднего вида и подумал, что у них с Аделаидой, наверное, какая-то договоренность на этот счет.

На крыльце дома Лоис стояла старая тахта, а на перилах висели какие-то половики. Лоис повела меня через дворик. Ее длинные золотистые волосы были связаны узлом на затылке, кожа у нее была вся в мелких конопушках, но очень светлая, даже глаза у нее были светлые. Холодная, хрупкая и бледная. В ее губах таилась насмешка и огромная опасность. Я подумал, что она моя ровесница или чуть старше:

Она открыла входную дверь и сказала ясным, приподнятым голосом.

— Позвольте вам представить мою семью.

В маленькой передней был линолеумный пол и цветастые бязевые занавески на окнах. Там стоял лоснящийся кожаный честерфильд, на нем лежали две вышитые подушки — одна с изображением Ниагарского водопада, а другая с надписью «Мамочке». Там же была черная плитка, загороженная на лето ширмой, и большая ваза с бумажным яблоневым цветом. Высокая хрупкая женщина вышла нам навстречу, вытирая руки кухонным полотенцем, которое она потом бросила на стул. У нее был полон рот голубовато-белых фарфоровых зубов, на шее подрагивали длинные жилы. Я поздоровался с ней, смущенный словами Лоис — такими неожиданно и намеренно светскими. Я терялся в догадках, может, Лоис как-то неправильно поняла цель нашего с ней свидания, организованного Джорджем с совершенно определенными намерениями? Вряд ли. Ее лицо не было ликом невинности, насколько я мог судить. Оно было сведущим, невозмутимым и враждебным.

Ясное дело — она насмехалась надо мной, отведя мне в этой пародии на свидание роль

воздыхателя, который склабится и мнется в передней в ожидании, пока его не представят славному девушкиному семейству Но это уж перебор. С какой стати ей срамить меня, если сама она согласилась поехать, даже не взглянув мне в лицо? С чего это мне такое внимание?

Мы с матерью Лоис присели на кожаный диван, и она приступила к беседе соответственно сценарию «свидания». Я уловил запах этого дома — запах тесных комнатенок, постельного белья, стирки, готовки, каких-то лечебных притираний. И грязи, хотя дом и не выглядел грязным. Мать Лоис сказала:

— Та чудесная машина перед домом, она ваша?

— Моего отца.

— Как мило! Какая чудесная машина у вашего отца. Я всегда говорила: прекрасно, когда можешь позволить себе красивые вещи. Напрочь не понимаю тех, кто вечно лопается от зависти. Уверена, ваша мама попросту идет и покупает то, что ей хочется, — новое пальто, покрывало, кастрюльки и сковородки. По-моему, это прекрасно. А чем занимается ваш отец? Он, наверное, адвокат или врач?

— Он консультант по налогам.

— О… Он работает в офисе, да?

— Да.

— Мой брат, дядя Лоис, он работает в офисе одной компании в Лондоне[3]. У него там очень высокая должность, как я понимаю.

Она принялась рассказывать мне о том, как в результате несчастного случая на фабрике погиб отец Лоис. Я приметил старуху, наверное бабушку, появившуюся в дверном проеме. В противоположность Лоис и ее матери, она не отличалась худобой, а была мягкой и бесформенной, как опавший пудинг, по лицу и рукам расползлись бледно-коричневые пятна, капельки пота собрались на щетине вокруг рта. Похоже, что именно она была одним из источников запаха в доме. Это был запах незаметного разложения, как будто где-то под верандой спрятался и умер некий зверек. Запах, неопрятность, доверительный голос — нечто из неведомой мне жизни, из жизни этих людей. Я подумал: и моя мама, и мама Джорджа чисты и невинны. И даже Джордж… Джордж и тот сама невинность в отличие от этих людей, рожденных пронырливыми, унылыми и всеведущими.

Об отце Лоис я узнал не так много — только то,

---

[3] Примечания: 3

Имеется в виду Лондон не в Англии, а в Канаде — городок на юго-западе провинции Онтарио, с населением 350 тыс. человек.

что ему отрезало голову.

— Начисто, представляете, прямо по полу покатилась! Гроб не открывали. Дело было в июне, жара ужасная. И все горожане буквально оборвали свои сады, все цветы срезали к похоронам. Все кусты спиреи, все пионы и даже клематис. Кажется, это был один из самых страшных несчастных случае в истории города… У Лоис этим летом был очень милый бойфренд, — продолжила она. — Они частенько гуляли вместе, а иногда он приходил ночевать к нам, когда его родители куда-то уезжали, а ему не хотелось торчать одному в пляжном домике. Он угощал детей конфетами и даже мне делал подарки. Вот этого фарфорового слоника — в него можно цветы посадить — это он мне подарил. И починил приемник, так что мне не пришлось идти в мастерскую. А ваши приятели тоже снимают здесь коттедж на лето?

Я ответил, что нет, и тут вошла Лоис. На ней было платье из желто-зеленой материи, сияющей и жесткой, как подарочная обертка на Рождество, туфли на высоких каблуках, фальшивые бриллианты и толстый слой темной пудры поверх веснушек. Мать ее пришла в восторг.

— Вам нравится ее платье? — спросила она. — Лоис пришлось за ним прямо в Лондон ехать,

здесь такого и близко не найдешь!

По пути к двери нам пришлось пройти мимо старухи. Она посмотрела на нас, и внезапно в ее мутных студенистых глазах качнулось некое подобие узнавания. Ее дрожащий рот открылся, и она уставилась на меня.

— Можешь делать с моей внучкой, что тебе вздумается, — сказала она старческим трубным голосом с грубыми крестьянскими интонациями. — Но поостерегись. Ты знаешь, о чем я!

Мать Лоис загородила собой старуху, натужно улыбаясь и вскинув брови так, что кожа на висках натянулась.

— Не обращайте внимания, — прошептала она одними губами, смущенно морщась. — Не обращайте внимания, второе детство.

Когда я шел вслед за Лоис к дверям, ее мать схватила меня за руку.

— Лоис хорошая девушка, — прошептала она. — Веселитесь и не позволяйте ей хандрить. — Она забавно повела бровями и затрепетала веками, полагаю, изначально это было намеренное кокетство. — Пока!

Лоис чопорно шла впереди, шелестя своей оберточной юбкой. Я спросил:

— Хочешь, поедем на танцы или еще куда?

— Нет, — ответила она. — Мне без разницы.

— Ну, ты такая нарядная…

— Я всегда наряжаюсь по субботам, — сказала Лоис.

Ее голос обволакивал меня, низкий и насмешливый.

А потом она рассмеялась, и я на мгновенье увидел в ней ее мать — та же шероховатость и истеричность.

— О боже! — прошептала она.

Я знал, что она имеет в виду происшедшее в доме, и тоже засмеялся — а что еще мне оставалось? Так что мы вернулись к машине, хохоча, как закадычные друзья. Но друзьями мы не были.

Мы выехали из города и отправились на какую-то ферму, где какая-то тетка продала нам мутноватую самогонку, налитую в бутылку из-под виски, мы с Джорджем такого еще и не нюхали. Аделаида сказала, что у этой тетки можно будет попробовать снять комнату но не сложилось. Из-за Лоис не сложилось. Тетка, глянув на меня из-под козырька мужицкой кепки, сказала, обращаясь к Лоис:

— Лучший отдых — перемена занятий, да?

Лоис, стоя с надменным лицом, не удостоила ее ответом. А потом тетка сказала, что раз мы

нынче так дерем носы, то ее комната, наверное, будет для нас недостаточно хороша и нам лучше отправляться обратно под кусты. Мы ехали по проселочной дороге, и Аделаида все кипятилась:

— Некоторые совсем шуток не понимают. Да-да, дерут носы, да… — Пока я не протянул ей бутылку.

Я заметил, что Джордж не против — явно надеется, что это отвлечет ее от мыслей о поездке в Оуэн-Саунд.

Мы остановились в конце дорожки, сидели в машине и пили. Джордж и Аделаида пили больше нашего. Они не разговаривали, просто тянулись за бутылкой, а потом возвращали ее нам. Содержимое бутылки не походило ни на что из того, что я пробовал раньше. Самогон был тяжелый, от него сводило желудок. Вот и весь эффект — я уже начал переживать, что вообще не опьянею. Всякий раз, беря у меня бутылку, Лоис произносила: «Благодарю!» — учтиво и с тонкой издевкой. Я нехотя обнял ее за плечи. Я недоумевал — что такое? Вот держу я в своих объятиях девчонку — такую презрительную, податливую, злую, невнятную и недосягаемую. Мне хотелось поговорить с ней — хотелось гораздо сильнее, чем прикасаться к ней. Между тем я знал, что должен

уже двигаться дальше и, минуя первую стадию, приступить ко второй (я ведь был знаком, хоть и не очень глубоко, со стандартной последовательностью ритуала обольщения на переднем и заднем сиденье машины). И я почти жалел, что рядом со мной не Аделаида.

— Не хочешь прогуляться? — спросил я Лоис.

— Это твоя первая блестящая идея за весь вечер! — отозвался Джордж с заднего сиденья. — И не спешите, — прибавил он, когда мы выбрались наружу, и они с Аделаидой сдавленно захихикали, — не слишком торопитесь назад!

Мы с Лоис брели по шпалам узкоколейки, проложенной вдоль перелеска. В полях было лунно, стыло и ветрено. На меня накатило мстительное чувство, и я вкрадчиво сказал:

— У меня тут с твоей матерью был вроде как разговор.

— Могу себе представить.

— Она рассказала мне о парне, с которым ты встречалась прошлым летом.

— Этим летом.

— Это лето уже в прошлом. Он вроде как помолвлен, да?

— Да.

Я не собирался ее отпускать.

— Но ты ему нравилась больше? — спросил я. — Ведь так? Ты ему больше нравилась?

— Нет, я бы не сказала, что я ему нравилась, — ответила Лоис, и по окрепшему сарказму в ее голосе я понял, что она начала пьянеть. — Ему нравилась мамуля, и к малявкам он хорошо относился, но я ему не нравилась. *Мне* — нравиться *ему*... — сказала она, — с какой это радости?

— Ну, вы же встречались...

— Он просто проводил со мной лето. Все курортники так делают. Эти парни приезжают на танцы, чтобы подцепить девчонку. На лето. Они всегда так делают. Я поняла, что *не нравлюсь ему*, — сказала она, — потому что он говорил, что я все время стервозничаю. Как же, ты должна всячески выражать свою признательность этим парням, иначе они скажут, что ты стерва.

Я был слегка ошарашен такой отчаянной откровенностью.

— А он тебе нравился?

— Да, конечно! Разве он мог мне не нравиться? Я же должна, правда же, я должна чуть ли не на коленях благодарить его, как моя мать. Он же подарил ей дешевого слоника из лавки старья...

— Он был у тебя первый? — спросил я.

— Первый постоянный. Ты это имел в виду?

Я не это имел в виду.

— Сколько тебе лет?

Она помедлила, раздумывая.

— Почти семнадцать. Я могу сойти и за восемнадцатилетнюю, и старше. Меня даже в пивной бар пускали.

— А в каком ты классе?

Она посмотрела на меня, слегка оторопев:

— А ты думал, что я еще учусь в школе? Я бросила школу два года назад. В городе есть перчаточное ателье, я там работаю.

— Наверное, это незаконно? То, что ты бросила школу.

— О, можно получить разрешение, если у тебя отец умер, например.

— А чем ты занимаешься в ателье?

— Кручу машинку. Она похожа на швейную. Скоро меня возьмут сдельно — там можно больше заработать.

— Хорошая работа?

— Ну не то чтобы я ее любила. Это просто работа… Ты слишком много вопросов задаешь, — заметила она.

— А ты против?

— Я не обязана тебе отвечать, — сказала она, голос у нее снова стал ровный и тихий. — Только

если сама захочу.

Она подобрала юбку и провела по ней руками.

— У меня на юбке репейники, — сказала она и, нагнувшись, принялась отдирать их один за другим. — Все платье в репейниках, — повторила она, — мое лучшее платье. Интересно, следы останутся? Надо их потихонечку снять, тогда зацепок не будет.

— Не надо было надевать это платье, — сказал я. — Куда ты собиралась в нем пойти?

Она тряхнула юбкой, сбрасывая остатки колючек.

— Не знаю, — ответила она. Она приподняла эту жесткую блестящую юбку и сказала с едва заметным хмельным удовлетворением: — Просто хотела вам, парням, нос утереть! — сказала она с внезапным кратким всплеском порочности.

Она стояла передо мной с дурацким, задиристым видом, придерживая широкую юбку кончиками пальцев, и пьяное, хвастливо-подначивающее, дразнящее удовлетворение уже нельзя было спутать ни с чем.

— У меня дома есть кофта из пряжи под кашемир. Она стоит двенадцать долларов! — сказала она. — И еще у меня есть шуба, я за нее расплачусь… расплачусь уже к зиме. У меня есть шуба…

— Очень мило, — сказал я. — Прекрасно, когда можешь себе позволить красивые вещи.

Она отпустила юбку и залепила мне пощечину. Это было облегчение для меня, для нас обоих. Мы оба чувствовали, что внутри нас все это время назревает стычка. Мы уставились друг на друга со всей враждебностью, на которую только были способны, учитывая наше нетрезвое состояние; ее так и подмывало снова ударить меня, а я был готов схватить ее или дать ей сдачи. Следовало разобраться, что мы имеем друг против друга. Но наш запал угас. Мы перевели дух, упустили момент. А в следующую минуту, не потрудившись даже стряхнуть остатки враждебности, не соображая, как одно вяжется с другим, мы поцеловались. Я впервые в жизни поцеловал девушку без долгой подготовки, без сомнений, без излишней поспешности, без всегдашнего смутного разочарования после. И, трясясь от смеха в моих объятьях, она снова заговорила как ни в чем не бывало, возвращаясь к прежней теме:

— Ну разве не смешно? Знаешь, всю зиму у девчонок только и разговоров что о лете да о тех парнях, но я могу поспорить, что парни даже имен этих девчонок не помнят…

Но мне больше не хотелось разговаривать, я

открыл в ней иную силу, которая была оборотной стороной ее враждебности, — враждебности, по сути, столь же воинственной, сколь и безличной. И вскоре я прошептал:

— Может, здесь есть местечко, куда мы могли бы пойти?

И она ответила:

— На соседнем поле есть сеновал.

Она знала эту местность, она здесь уже бывала.

В город мы возвращались около полуночи. Джордж и Аделаида спали сзади. Лоис молча сидела с закрытыми глазами, но не думаю, что она спала. Где-то я читал фразу насчет *omne animal*[4] и мне хотелось ее процитировать, но потом я подумал, а вдруг Лоис ни бум-бум в латыни и, не дай бог, решит, что я выпендриваюсь, демонстрирую свое превосходство. Потом-то я жалел. Она бы поняла, что я имею в виду.

Остались лишь телесная апатия, и холод, и отдаление. Отряхнуться от налипшего сена и оправить одежду медлительными, неловкими движениями, выйти из амбара и увидеть, что луна исчезла, но плоские скошенные поля все

---

[4] Примечания: 4

Post coitum omne animal triste est (*лат.*) — после соития всякая тварь печальна.

еще здесь, как и тополя, и звезды. И обнаружить, что прежние мы, дрожащие от холода, совершившие это головокружительное путешествие, — мы все еще здесь. Вернуться в машину и найти там спящих вповалку. Все это и есть *triste. Triste est.*

Это головокружительное путешествие. Может, дело в том, что все произошло впервые или что я был слегка и непривычно пьян? Нет. Это все из-за Лоис. Одни люди совершают очень короткий путь к любовному действу, а другие способны пойти очень далеко, создавая величайшие, почти мистические соблазны. И вот Лоис, воплощение этой любовной мистики, сидит теперь на дальнем краешке сиденья, такая холодная и взъерошенная, наглухо закрытая в себе. И все те слова, что я хотел ей сказать, пусто звякают у меня в голове: *Увидеться снова… Запомню… Люблю — я* не мог произнести ничего. С того конца пропасти, которая нас разделяла, они не выглядели бы даже полуправдой. Я думал: «Скажу ей вон у того дерева, у того телефонного столба». Но так и не сказал. Просто гнал машину, гнал изо всех сил, ускоряя приближение города.

Уличные фонари расцветали среди темных деревьев впереди. На заднем сиденье завозились.

— Который час? — спросил Джордж.

— Двадцать минут первого.

— Пузырь-то мы добили стопудово. Что-то мне нехорошо. О боже, как же мне нехорошо. А ты как?

— Прекрасно.

— Прекрасно, н-да? Вроде как ты у нас сегодня завершил образование? Поэтому и прекрасно? Твоя спит? Моя — да.

— Я не сплю, — сонно возразила Аделаида. — Где мой пояс? Джордж… ой… А где моя вторая туфля? Еще же не поздно, да, суббота ведь?.. Можем заехать поесть куда-нибудь.

— Мне что-то не до еды, — сказал Джордж, — мне бы чуток соснуть. А то утром вставать рано и вести мамулю в церковь.

— Ага, рассказывай, — недоверчиво сказала Аделаида, впрочем не слишком сердито. — Мог бы мне хоть гамбургер какой купить!

Мы подъезжали к дому Лоис. Лоис не открывала глаз, пока машина не остановилась.

Мгновение она сидела неподвижно, потом прижала руками подол, усмиряя непокорную юбку. Потом посмотрела на меня. Я потянулся к ней, чтобы поцеловать, но она слегка отстранилась, и я почувствовал, что, в конце концов, было какое-то жульничество, какая-то театральность в этом

ее заключительном жесте. Она не такая.

— А ты где живешь? — спросил Джордж у Аделаиды. — Где-то поблизости?

— Да. Полквартала отсюда.

— Вот и ладненько. Как насчет тоже выйти тут? Нам еще ехать и ехать.

Он чмокнул ее, и девушки вылезли из машины.

Я завел мотор. Мы тронулись с места, Джордж устроился спать на заднем сиденье. И тогда мы услышали женский голос, кричащий нам вслед, громкий, развязный женский голос, голос оскорбительный и безнадежный:

— Спасибо, что подбросили!

Кричала не Аделаида. Это был голос Лоис.

Кабинет

Решение, перевернувшее мою жизнь, пришло однажды вечером, пока я гладила рубашку. Оно было простым, но дерзким. Я вошла в столовую, где муж смотрел телевизор, и объявила:

— Думаю, мне необходим собственный кабинет.

Даже мне самой это казалось фантастикой. Ну зачем мне кабинет? У меня же есть дом, такой славный и просторный, с видом на море. В нем все так хорошо обустроено: где есть, где спать, где принимать ванну, а где — гостей. И еще у меня есть сад… в общем, места предостаточно.

Нет. И тут мне придется сделать нелегкое для меня признание: я писатель. Как-то это неправильно звучит. Слишком самонадеянно, фальшиво или по меньшей мере неубедительно. Попробую еще разок: я пишу. Так лучше? Я *пробую* писать. Теперь — хуже. Смирение паче гордости. Ну и?..

А, не важно. Как бы я это ни произнесла, мои слова сразу создают некий вакуум, повисшее молчание, этакий деликатный момент разоблачения.

Но люди добры, и тишину быстро впитывают, как губка, заботливые дружеские голоса, восклицающие на все лады: вот здорово! Надо же, такое полезное и, ну, интригующее занятие. И что же вы пишете? — спрашивают они воодушевленно. Я прозаик, отвечаю, неся в этот раз свое унижение с легкостью и даже с некоторой долей бравады, обычно мне не свойственной, и снова, снова острые углы тревоги с готовностью сглаживаются этими тактичными голосами, впрочем набор утешительных фраз иссякает довольно скоро, и людям остается только благостно ахать.

Вот для того-то мне и нужен кабинет (это я мужу сказала): чтобы писать. Сразу испугалась, что это похоже на мелочное требование, пустое баловство. Потакание своим прихотям. Каждый знает: для того чтобы писать, нужна пишущая машинка или, на худой конец, карандаш, бумага, стол и стул. Все это у меня есть — в углу спальни. А теперь мне еще и кабинет подавай.

Но ведь я даже не знала еще, буду ли я вообще писать в этом кабинете, если, конечно, он появится. Не исключено, что я буду там просто сидеть и смотреть в стену, — даже такая перспектива меня не смущала. Мне нравилось само звучание этого слова «кабинет», в нем чувствовались

достоинство и покой. И целеустремленность, и значительность. Но мужу я обо всем об этом и словом не обмолвилась, а разразилась высокопарным монологом, звучавшим, если память мне не изменяет, приблизительно так:

Мужчина прекрасно может работать дома. Когда он приносит работу домой, для нее расчищают место, дом приспосабливается как может, создавая мужчине условия для работы. Всякому очевидно, что эта работа *существует.* Мужчине не надо отвечать на звонки, искать потерянные вещи, бежать сломя голову на детский крик или кормить кота. Он может закрыть за собой дверь. А теперь представь (сказала я ему) мать, закрывшую за собой дверь, и детей, которые знают, что она за этой самой дверью. Боже, да сама мысль об этом для них непереносима. Чтобы женщина сидела, уставившись в пространство, в страну, куда не вхожи ни супруг, ни дети? Преступление против самой природы! Так что дом для женщины — не то же самое, что для мужчины. Женщина не может прийти в дом, попользоваться им и выйти. Она *и есть* дом, разделение невозможно.

(Истинная правда, хотя, когда мне приходится отстаивать то, чего, как мне кажется, я не вполне заслуживаю, я, по своему обыкновению, излагаю

чересчур ярко и эмоционально. В определенное время, возможно долгими весенними вечерами, все еще дождливыми и печальными, когда холодные клубни пускают побеги, а свет слишком кроток, обещая спокойное плавание за море, я открывала окна и чувствовала, как дом съеживается до древесины, до штукатурки и прочих скромных элементов своей конструкции и жизнь в нем замирает, оставляя меня неприкрытой, с пустыми руками, но с яростным и непокорным трепетом свободы и одиночества, слишком суровым и великолепным и оттого невыносимым. И тогда я осознаю, как все остальное время была надежно укрыта и стеснена, как настойчиво была согрета и привязана.)

— Давай, если найдешь подешевле, — вот и все, что сказал на это мой супруг.

Он не похож на меня, на самом деле ему не нужны объяснения. Он частенько говорит, что чужая душа — потемки, впрочем без всякого сожаления.

Но даже теперь я не считала, что моя идея осуществима. Наверное, в глубине души мое желание казалось мне слишком несправедливым. Куда проще хотеть норковую шубку или бриллиантовое колье — а что? — вполне достижимые

женские желания. Дети встретили идею с подчеркнутым скептицизмом и безразличием. Тем не менее я отправилась в торговый центр в двух кварталах от дома. Вот уже несколько месяцев я без всякой задней мысли примечала объявления «сдается» в окнах второго этажа того здания, где располагались аптека и салон красоты. Пока я поднималась по лестнице, меня охватило чувство полной нереальности происходящего. В самом-то деле аренда помещений — непростое предприятие, особенно аренда кабинета. Нельзя же просто прийти и постучать в двери свободного офиса и ждать, пока тебя не впустят, тут нужны какие-то посредники, связи. И к тому же наверняка запросят слишком большую сумму.

Но оказалось, что мне и стучать не пришлось. Дверь одного из пустующих офисов открылась, и оттуда вышла женщина, волоча за собой пылесос, а затем впихнула его ногой в открытую дверь напротив, которая, видимо, вела в квартиру в тыльной части здания. Эта женщина и ее муж — супруги Маллей — живут в этой квартире, и, конечно, они и есть хозяева всего здания и сдают офисы внаем. Та комната, которую она только что пропылесосила, оборудована под стоматологический кабинет и вряд ли меня заинтересует,

но она покажет мне другие. Хозяйка пригласила меня зайти в ней в квартиру и подождать, пока она не уберет пылесос и не возьмет ключи. Ее мужа, сказала она со вздохом, который я не смогла истолковать, нет дома.

Миссис Маллей была темноволосая, хрупкого сложения женщина, вероятно, чуть за сорок, неряшливая, но не лишенная остатков привлекательности и некоторых произвольных штрихов женственности вроде тонкой полоски яркой помады и розовых, лебяжьего пуха шлепанцев на изнеженных и отечных ногах. Весь ее облик выражал колеблющуюся покорность, намекал на изможденье и приглушенную настороженность, свидетельствующие о жизни, прожитой в неусыпной заботе о человеке, попеременно взбалмошном, своенравном и зависимом. Что из этого я поняла сразу, а что додумала впоследствии, сейчас, конечно, уже и не скажешь. Но я и в самом деле подумала, что у нее, наверное, нет детей — стресс, в котором она жила, не важно, какой именно, не позволил ей, — и в этом я не ошиблась.

Комната, в которой я ждала, была чем-то средним между гостиной и кабинетом. Первым делом я заметила модели кораблей — галеонов, кли-

перов и даже «Куин Мэри»[5], — которыми были уставлены столы, подоконники и телевизор. Где не было корабликов, там стояли комнатные растения в горшках и всяческий хлам, иногда именуемый «мужскими» безделушками: фарфоровые оленьи головы, статуэтки лошадей, громадные тяжелые пепельницы из жилистого сияющего материала. Стены украшали рамки с фотографиями и чем-то вроде дипломов. На одной из фотографий бульдог в мужской одежде и пуделиха в платье с мрачным смущением изображали любовную сценку. Фото было подписано: «Старинные друзья». Но главным в этой комнате, безусловно, был портрет в золоченой раме, над которым висел отдельный светильник. Красивый блондин средних лет в деловом костюме сидел за столом с видом в высшей степени процветающим, румяным и благодушным. И вот опять: мысленно возвращаясь назад, я думаю, что мне еще тогда показалось, будто в портрете чувствуется некая тревожность, отсутствие веры у человека в этой роли, стремление выставить себя напоказ, слишком изобильное и настойчивое, которое, как известно, может привести к

[5] Примечания: 5

Трансатлантический лайнер британской компании «Кунардлайн», спущенный на воду в 1934 г.

катастрофическим последствиям.

Но бог с ними, с супругами Маллей. Как только я увидела тот кабинет, я поняла — это он. Помещение оказалось просторнее, чем нужно, и распланировано для кабинета врача. (Был тут у нас один хиропрактик, но съехал, сообщила миссис Маллей печально, ничего этим не прояснив.) Стены были холодны и голы — белые с примесью серого, чтобы не резало глаз. Поскольку, судя по словам миссис Маллей, врачами тут и не пахло уже довольно давно, я предложила двадцать пять долларов в месяц. Она ответила, что должна посоветоваться с мужем.

Когда я пришла в следующий раз, мое предложение было принято, и я узрела мистера Маллея во плоти. Я объяснила ему, как уже объясняла его жене в прошлый раз, что не буду пользоваться кабинетом в рабочие часы, а только по выходным и иногда по вечерам. Он спросил, для чего мне нужен кабинет, и я сказала ему, сперва чуть поколебавшись, не сказать ли лучше, что занимаюсь стенографией.

Он воспринял информацию благодушно:

— А, так вы писательница.

— Ну в некотором роде. Да, я пишу.

— Мы из всех сил постараемся, чтобы вам было

здесь удобно! — экспансивно воскликнул он. — Я и сам очень предан своему хобби. Все эти модели кораблей я сделал в свободное время, это просто спасение для нервной системы. Людям необходимы занятия для успокоения нервов. Я полагаю, у вас то же самое.

— Иногда так и есть, — охотно согласилась я, чувствуя облегчение, что он видит мое занятие в таком туманном и терпимом свете.

По крайней мере, он не спросил меня (к чему я уже почти приготовилась), кто присматривает за моими детьми и одобряет ли муж мою идею. Десять, а может, и пятнадцать прошедших лет здорово разрыхлили, размазали и сокрушили человека с портрета на стене. Его бока и бедра демонстрировали впечатляющие скопления жира, так что каждое движение этой подушкообразной плоти, медлительной в своей матриархальной неловкости, давалось ему с изрядным трудом. Глаза и волосы его выцвели, черты лица расплылись, а благожелательное выражение хищника исказилось в гримасу тревожного смирения и хронического недоверия. Я не смотрела на него. Я не планировала, снимая кабинет, брать на себя ответственность и заводить знакомство с какими-то еще человеческими существами.

В воскресенье я въехала в кабинет без помощи своего семейства, хотя они не отказали бы мне в любезности. Я привезла пишущую машинку, карточный стол, складной стул и еще небольшой деревянный столик, на который поставила плитку, чайник, банку растворимого кофе, ложку и желтую кружку. Вот и все. Я удовлетворенно размышляла о пустоте стен и аскетическом достоинстве меблировки, состоящей только из самого необходимого; не было лишних пылящихся поверхностей, которые пришлось бы мыть или полировать.

Но мистер Маллей не обрадовался увиденному. В скором времени после переезда он постучался ко мне и сказал, что хочет мне кое-что объяснить — об отключении света в прихожей, если она мне не нужна, об отоплении и о том, как работает маркиза за окном. Он мрачно и недоверчиво оглядел вокруг и сказал, что это ужасно неуютное место для дамы.

— Как по мне, то, что нужно, — ответила я менее обескураживающе, чем хотелось бы, поскольку я всегда стремилась как-то смягчить людей, которые мне не нравились без всякой на то причины или с которыми я просто не хочу знаться. Иногда я старательно развожу политес в глупой надежде,

что они уберутся и оставят меня в покое.

— Что вам нужно, так это милое легкое кресло, чтобы сидеть в нем в ожидании прилива вдохновения. У меня есть как раз такое в подвале, там множество самых разных вещей, доставшихся нам от мамы в прошлом году, когда ее не стало. Там и ковер в углу стоит, пылится без пользы. Мы можем обустроить вам комнатку уютно, совсем по-домашнему.

— Но мне на самом деле, — ответила я, — на самом деле нравится именно так, как есть.

— Хотите, шторки повесим? Я бы оплатил расходы на ткань. Комнате слегка не хватает цвета, боюсь, вы захандрите, сидя здесь.

Но я сказала, что нет, и рассмеялась — я не хочу никаких шторок, честное слово.

— Будь вы мужчиной, тогда — другое дело. А женщине нужен уют.

Итак, я встала, подошла к окну и взглянула сквозь планки жалюзи на пустую воскресную улицу, чтобы не смотреть на обвиняющую ранимость его толстой физиономии, и попыталась ответить ледяным голосом, которым так хорошо владела в мыслях, но который не так часто раздавался из моего трусливого рта:

— Мистер Маллей, прошу вас не беспокоить

меня больше по этому вопросу. Меня все устраивает. У меня есть все, что нужно. Спасибо, что показали мне, как прикручивать свет.

Эффект был такой разрушительной силы, что я устыдилась.

— У меня и в мыслях не было беспокоить вас, — отчеканил он с надменной печалью. — Я просто высказал свои предложения ради вашего уюта. Если бы я знал, что отнимаю у вас время, то давно бы откланялся.

Когда он ушел, я почувствовала себя лучше и даже возликовала, одержав победу, но все же меня смущала легкость, с которой мне это удалось. Я убедила себя, что рано или поздно ему пришлось бы испытать разочарование, и даже лучше, что все прояснилось с самого начала.

В следующий выходной он снова постучал в мою дверь. Смирение на его лице было таким утрированным, что казалось почти издевкой, но, с другой стороны, оно было неподдельным, и я почувствовала себя неуверенно.

— Уделите мне минуту вашего времени, — сказал он. — Я не собираюсь докучать вам. Я просто хотел сказать, как я сожалею, что обидел вас в прошлый раз, примите мои извинения. А это маленький презент от меня.

Он внес неизвестное мне растение с толстенными лоснящимися листьями, торчавшими из горшка, обильно укутанного в розовую и серебряную фольгу.

— Вот, — сказал он, пристраивая горшок в углу моего кабинета. — Мне бы не хотелось никаких недоразумений между нами. И я подумал: если она против мебели, то как насчет маленького кашпо с цветком, который немного скрасит обстановку?

В тот момент не было никакой возможности сказать ему, что не надо мне никаких кашпо. Я терпеть не могу домашние растения. Он объяснил мне, как за ним ухаживать, как часто поливать и т. д., и мне пришлось сказать «спасибо». Это все, что я могла сделать, и меня преследовало неприятное ощущение, что подспудно он рассчитывал на это, явившись сюда со своими извинениями, и получал удовольствие. Он продолжал болтать, то и дело употребляя слова «дурные чувства», «обида», «извинения». Один раз я попыталась его прервать, мне захотелось объяснить, на что я рассчитывала: в область моих добрых или недобрых чувств посторонним вход воспрещен, а между ним и мной вообще нет необходимости в каких-либо чувствах, — но меня вдруг осенило,

что задача эта совершенно безнадежна. Как я могла в открытую отвергнуть это стремление к сближению? Кроме того, растение в блестящей обертке меня деморализовало.

— Как вам пишется? — спросил он с видом человека, выкинувшего из головы все недоразумения между нами.

— О, вроде бы как обычно.

— Кстати, если вы ищете, о чем бы таком написать, то у меня вагон всяких тем. — Пауза. — Но кажется, я просто отнимаю ваше время, — произнес он с каким-то болезненным оптимизмом.

Это было испытание на прочность, и я его не прошла. Я улыбнулась. Глаза мои затуманило великолепие подаренного растения. Я сказала, что все в порядке.

— А я как раз думал о том парне, который был до вас. Мануальщик. Вы могли бы написать о нем книгу.

Я навострила уши, руки мои перестали теребить ключи. Если трусость и лицемерие — мои большие пороки, то любопытство — определенно из той же серии.

— У него здесь сложилась довольно большая практика. Одна беда — он делал гораздо больше коррекций, чем было отмечено в регистраци-

онной книге. Корректировал направо и налево. После того как он съехал, я зашел сюда, и что, вы думаете, я тут обнаружил? Звукоизоляцию! Все стены этой комнаты были покрыты звукоизоляцией, чтобы он мог принимать пациентов и никому не мешать. Вот в этой самой комнате, где вы сочиняете свои рассказы. Мы узнали об этом, когда одна дама постучала ко мне и попросила открыть ей двери его кабинета. Он заперся от нее на ключ. Думаю, он просто устал ее пользовать. Решил, что мял и выстукивал ее уже достаточно долго. Та дама, знаете ли, была уже весьма в годах, а он человек молодой. У него была хорошенькая молоденькая жена и парочка самых симпатичных детишек, каких только можно себе представить. До чего отвратительные вещи случаются порой в этом мире.

Я не сразу сообразила, что он не просто пересказывает мне сплетню, а подает ее как нечто способное заинтересовать писателя. В его мозгу писательское ремесло и разврат как-то незримо и вкусно переплетались. Впрочем, даже это заявление показалось мне таким тоскливо-жаждущим и инфантильным, что оспаривать его было бы пустой тратой сил. Теперь я усвоила, что ни в коем случае не должна задирать его — не ради него,

а ради собственного блага. Как же я ошибалась, думая, что достаточно маленькой грубости, дабы избавиться от него.

В следующий раз он подарил мне заварочный чайник. Я уверяла его, что пью только кофе, и просила отдать чайник его жене. Он сказал, что чай для нервов полезнее, а он сразу понял, что я, как и он, человек нервный. Чайник был усыпан позолоченными розочками, и я знала, что, несмотря на свой пошлый и безвкусный вид, он не из дешевых. Я держала его на столе. А еще я продолжала поливать цветок, который нагло благоденствовал у меня в углу. А что было делать? Мистер Маллей купил мне корзину для бумаг. Довольно причудливую. Восьмигранную, и на каждой грани был изображен китайский мандарин. Он принес мне поролоновую подушку для стула. Я презирала себя за то, что поддалась на этот шантаж. А он знал, что покупает мою терпимость, и в душе, наверное, ненавидел меня за это.

Теперь он засиживался у меня в кабинете, чтобы рассказывать о себе. Мне пришло в голову, что он раскрывает передо мной свою жизнь в надежде, что я напишу о ней. Конечно же, он очень многим рассказывал эти истории без какой-либо

определенной цели, но в моем случае, похоже, он испытывал особенную, даже отчаянную необходимость в откровениях.

Жизнь его, как часто случается в этом мире, была чредой лишений и несчастий. Его подводили те, кому он доверял, ему отказывали в помощи те, от кого он зависел, его предавали те самые друзья, которым он отдавал всю свою любовь и кого выручал деньгами. Прочие, чужаки или просто мимоидущие, тоже не теряли времени даром и мучили его беспричинно, изобретая для него все новые и все более изощренные пытки. Порой сама жизнь его висела на волоске. Кроме того, возникали трудности с женой, с ее крайне хрупким здоровьем и неустойчивым темпераментом. Что ему было делать? Вы понимаете, каково это, сказал он, воздев руки, но я выжил. Он посмотрел на меня, ища подтверждения.

Я дошла до того, что поднималась по лестнице на цыпочках и пыталась бесшумно поворачивать ключ в замке, но это, конечно, было очень глупо, потому что я не могла приглушить стук пишущей машинки. Я уже подумывала, не начать ли мне писать от руки, и меня просто преследовала мысль о звукоизоляции злодея-хиропрактика. Я пожаловалась мужу, и он сказал, что я придумы-

ваю проблему там, где ее нет вовсе. Скажи ему, что ты занята, посоветовал он. Вообще-то, я говорила; каждый раз, когда он оказывался у меня на пороге с очередной взяткой или инструкцией, он спрашивал у меня, как дела, и я отвечала ему, что сегодня я очень занята. А, ну тогда, говорил он, протискиваясь в дверь, он буквально на минутку. И всякий раз, как я уже сказала, он знал, что у меня на уме и как я мучительно жажду отделаться от него. Знал, но не мог позволить себе обращать на это внимание.

Как-то вечером по дороге домой я вспомнила, что оставила в кабинете письмо, которое собиралась отправить, и вернулась за ним. С улицы я заметила свет в окне моего кабинета. А потом я увидела его, ссутулившегося над столом. Ну конечно, он приходит по вечерам и читает все, что я написала! Он услышал, как я открываю дверь, и, когда я вошла, схватил с пола мусорную корзину бормоча, что просто хотел тут прибраться. И немедленно вышел. Я ничего не сказала, но почувствовала, что вся дрожу от гнева и мстительного удовлетворения. Поймать его с поличным — какое удивительное, невыносимое облегчение!

Когда он явился снова, я закрыла дверь на ключ

изнутри. Я узнала его шаги, его льстивый, вкрадчивый стук. И продолжала громко печатать, впрочем не беспрерывно, так что он знал, что я все слышу. Он назвал мое имя, как будто я его разыгрываю. Я плотно сжала губы и не ответила. Как всегда, непонятно почему, меня вдруг стала терзать совесть, но я продолжала стучать по клавишам. В тот день я заметила, что вокруг корней цветка высохла земля. И не стала его поливать.

А к тому, что произошло дальше, я была не готова. В двери кабинета я обнаружила записку. В ней говорилось, что я весьма обяжу мистера Маллея, если загляну к нему в контору. Решив не откладывать дело в долгий ящик, я пошла туда немедленно. Он восседал за столом в окружении выцветших доказательств своей власти и смотрел на меня отстраненно, как человек, которому приходится через силу видеть меня в новом и, увы, неблагоприятном свете, лицо его изображало смущение, но не за себя, а за меня ему было стыдно. Для начала он с деланой неохотой сообщил мне, что когда он брал меня, то, конечно же, знал, что я — писательница.

— Это меня не тревожило, хотя о писателях и художниках я слыхал всякое, и такого рода личности меня отнюдь не обнадеживают. Вы

понимаете, что я имею в виду.

Это было что-то новенькое, я и представить себе не могла, к чему он клонит.

— И тут приходите вы и говорите: «Мистер Маллей, мне нужно местечко, где я могла бы писать. И я вам поверил. Я дал вам место. Я не задавал лишних вопросов. Уж такой я человек. Но знаете, чем больше я об этом думаю, тем… тем более я склонен задумываться всерьез.

— Задумываться? О чем?

— И ваше поведение никак не способствует разрешению моих сомнений. Запираться изнутри и не отвечать, когда к вам стучат, — это не есть нормальное человеческое поведение. Разумеется, если вам нечего скрывать. И уж тем более для молодой женщины, которая утверждает, что у нее есть муж и дети, ненормально тратить свое время, барабаня на машинке.

— Но я не думаю, что…

Он поднял руку, будто прощая мне грехи:

— Все, что я прошу, — это играть со мной честно. Думаю, что я этого заслуживаю, и если вы используете мой кабинет в иных целях или в иное время, чем вы указали, или принимаете у себя друзей, кем бы они вам ни приходились…

— Я не понимаю, о чем вы.

— И вот еще, вы утверждаете, что вы писательница. Что ж, я читаю довольно много и никогда не встречал вашего имени ни в одном печатном издании. Может, вы сочиняете под другими именами?

— Нет, — ответила я.

— Ну, я не сомневаюсь, что есть на свете писатели, чьих имен я никогда не слышал, — сказал он добродушно. — Что ж, оставим это. Просто дайте мне слово чести, что больше не будете меня обманывать и допускать всякие фривольности и тэ дэ и тэ пэ в занимаемом вами помещении…

Я не верила своим ушам, но это дурацкое неверие не дало моему гневу выплеснуться. Я услышала достаточно, чтобы встать, развернуться и выйти. Пока я шла по коридору, он продолжал что-то бубнить мне вслед. Заперев дверь, я подумала: надо уходить. Но потом села у себя в комнате, где на столе меня ждал мой труд, и снова вспомнила о том, как же мне здесь нравится, как славно мне здесь работается, и решила, что не дам себя выжить. В конце концов, я чувствовала, что борьба между нами зашла в тупик. Я могу не открывать дверь, не читать его записок, не разговаривать с ним при встрече. Оплата внесена вперед, и если я уйду сейчас,

то, скорее всего, мне ничего не вернут. Итак, я решила не обращать внимания. Прежде я каждый вечер уносила написанное домой, чтобы он не прочел, а теперь мне казалось, что даже эта предосторожность ниже моего достоинства. Ну и что с того, что он прочтет? Подумаешь — вреда не больше, чем если мышь в темноте опрометью прошуршит по листкам.

После этого записки в моей двери появлялись регулярно. Не буду читать, думала я и всякий раз читала. Его обвинения становились все более конкретными. Он слышал в моей комнате голоса. Мое поведение беспокоило его жену, когда та пыталась вздремнуть после полудня (я никогда не приходила в это время, за исключением выходных дней). Он нашел в мусоре бутылку из-под виски.

Я частенько вспоминала моего предшественника — хиропрактика. Было очень неловко наблюдать, как именно строились легенды из жизни мистера Маллея.

Поскольку записки становились все более злобными, наши личные встречи прекратились. Раз-другой я видела его сутулую потную спину, исчезавшую при моем появлении в коридоре. Постепенно наши отношения стали совер-

шеннейшей фантазией. Теперь он письменно обвинял меня в том, что я вступаю в интимные отношения с завсегдатаями «Нумера пятого» — так называлась кофейня по соседству, которую, как мне представляется, он приплел с весьма символической целью. Я чувствовала, что хуже уже быть не может, записки исправно появлялись, их содержание становилось все более нелепым, и потому у них было все меньше шансов на меня воздействовать.

Он постучался ко мне в дверь воскресным утром, где-то около одиннадцати. Я как раз только пришла, сняла пальто и поставила чайник на плитку.

На этот раз его лицо было другим — отстраненным и преобразившимся, сияющим холодным светом огромной радости — это было лицо человека, добывшего доказательства греха.

— Будьте так добры, — сказал он порывисто, — проследовать за мной.

Я проследовала. В уборной горел свет. Это была моя уборная, кроме меня, ею никто не пользовался, но он так и не выдал мне ключ, и там всегда было не заперто. Он остановился напротив двери, толкнул ее и застыл, не поднимая глаз, незаметно отдуваясь.

— Ну, кто это сделал? — спросил он голосом полным чистейшей скорби.

Стены над унитазом и над умывальником были испещрены рисунками и репликами, какие часто можно встретить в общественных туалетах на пляже или в присутственных местах маленьких городов вроде того, в котором прошло мое детство. Как водится, все они были сделаны губной помадой. Кто-то, наверное, поднимался сюда вчера вечером, подумала я, может быть, кто-то из гопников, вечно околачивающихся вокруг торгового центра субботними вечерами.

— Надо было запирать дверь на ключ, — сказала я холодно и сухо, как будто удаляясь со сцены. — Какое безобразие.

— Безобразие и есть. Сплошной мат. Может быть, это просто шутка ваших друзей, но не для меня. Не говоря уже о художествах. Очень приятно открыть дверь поутру по своей надобности и увидеть это.

— Думаю, что помада отмоется.

— Как хорошо, что миссис Маллей этого не видит. Это огорчило бы любую женщину, получившую хорошее воспитание. Итак, почему бы вам не пригласить сюда своих друзей и не устроить для них вечеринку с ведрами и щетками? А

я бы полюбовался на людей с таким замечательным чувством юмора.

Я повернулась, чтобы уйти, а он неуклюже загородил мне путь:

— У меня нет сомнений насчет того, как появились эти надписи на моей стене.

— Если вы пытаетесь утверждать, — произнесла я довольно глухо и устало, — что я имею к этому хоть малейшее отношение, то вы, наверное, сумасшедший.

— А откуда они здесь тогда? Чей это туалет? А? Чей?

— К нему нет ни одного ключа. Любой может зайти сюда. Может быть, ребятня с улицы забежала и нахулиганила вчера вечером после моего ухода, откуда я знаю?

— Как жаль, что детей обвиняют во всех грехах, а на деле это взрослые их развращают. Вот о чем вам стоит хорошенько подумать. Это преступление. Есть законы против порнографии. Они применяются и к таким вот выходкам, и к литературе, я полагаю.

И тут мне впервые в жизни пришлось осознанно сделать глубокий вдох, чтобы сдержаться. Я на самом деле была готова убить его. Помню, какой мягкой и гаденькой стала его физиономия, глаза

почти закрылись, а ноздри раздулись, впитывая успокаивающий аромат праведности, аромат триумфа. Если бы не это дурацкое происшествие, то ему бы никогда не видать победы. Но он победил. И все же, возможно, в моих глазах он прочел нечто такое, что даже в этот победный миг заставило его нервничать, потому что он отступил к стене и сказал, что, вообще-то, если на то пошло, он не считает, что лично я на такое способна, но вот некоторые мои друзья, возможно… Я вошла в свою комнату и закрыла дверь.

Чайник угрожающе шипел, выкипев почти досуха. Я подхватила его с плитки, выдернула вилку из розетки и с минуту стояла, задыхаясь от ярости. Когда приступ прошел, я сделала то, что должна была сделать. Я переставила пишущую машинку на стул и сложила карточный столик. Крепко завинтила крышку на банке с растворимым кофе и положила ее, желтую кружку и чайную ложку в сумку, в которой я их сюда принесла, — она так и лежала, свернутая, на полке. Мне так по-детски хотелось отомстить растению в углу, цветастому заварочному чайнику, корзине для бумаг, подушке и — вот она куда закатилась — маленькой пластмассовой точилке, лежащей под ней.

Когда я грузила вещи в машину пришла миссис

Маллей. С того первого дня я ее почти не видела. Она не казалась расстроенной, вид у не был будничный и покорный.

— Он лег, — сказала она. — Он не в себе.

Она поднесла мне сумку с кружкой и банкой кофе. Она была так тиха, что я почувствовала, как мой гнев отступил, сменившись всепоглощающей депрессией.

Я пока не нашла другого кабинета. Думаю, что однажды я попытаю счастья еще раз, но не теперь. Надо выждать, пока не изгладится из памяти картина, которая до сих пор стоит у меня перед глазами, хотя наяву я никогда ее не видела: мистер Маллей, с тряпками, щетками и ведром мутной мыльной воды, неуклюже, нарочито неуклюже драит стену в туалете. Он с трудом наклоняется, печально пыхтит и отдувается, сочиняя в уме причудливую, но почему-то не вполне удовлетворительную историю об очередном предательстве в его жизни. А я в это время складываю слова в предложения и думаю о том, что избавиться от него — мое священное право.

Унция снадобья

Мои родители не пили. Они не были воинствующими трезвенниками, и на самом деле я помню, что, когда в седьмом классе подписывала клятву вместе с остальными своими одноклассниками, которым хорошенько, хотя и ненадолго, промыли мозги, мама сказала: «Это просто глупость и фанатизм, они же еще совсем дети!» Отец мог хлебнуть пивка в жаркий день, но мама никогда не пила вместе с ним, и — то ли случайно, то ли символически — это всегда происходило *вне дома.* Большинство наших знакомых в маленьком городке, где мы жили, вели себя так же. Не стану утверждать, что проблемы у меня были именно от этого, поскольку все мои проблемы достоверно отражали мою собственную неудобную натуру — ту самую натуру, которая заставляла мою маму во всех случаях, традиционно предполагавших чувство гордости и материнского удовлетворения (мои первые сборы на танцы, например, или безрассудные приготовления к десантированию в колледж), смотреть на меня с выражением задумчивого и зачарованного отчаяния, словно она

не может ожидать или надеяться, что со мной все пройдет так, как с другими девушками. Вожделенные дочерние трофеи — букеты орхидей, красивые юноши, бриллиантовые кольца — будут доставлены в дом в установленном порядке дочками всех ее подруг, но только не мной. Все, что маме оставалось, — уповать на меньшее зло взамен большего: скажем, побег с парнем, который никогда не мог заработать себе на жизнь, вместо похищения в качестве белой рабыни.

Однако наивность, говорила моя мама, наивность или невинность, если так тебе нравится больше, не всегда такое уж прекрасное качество, и я не уверена, что оно не может навредить такой девушке, как ты, тут, по обыкновению, мама сдабривала высказывание парой-тройкой напыщенно-целомудренных цитат с нафталиновым душком. Я при этом даже не морщилась, отлично зная, какие чудеса это сотворило с мистером Берриманом.

Вечер, когда я сидела с детьми Берриманов, кажется, случился в апреле. Я была влюблена весь год или как минимум с первой недели сентября, когда мальчик по имени Мартин Колингвуд во время школьного собрания одарил меня удивленной, признательной и зловеще-по-

чтительной улыбкой. Мне было невдомек, что же его удивило, выглядела я как обычно — на мне была старая блузка, а домашняя завивка взялась плохо. Через несколько недель после этого он впервые пригласил меня погулять и поцеловал в темном углу веранды — и, между прочим, в губы! Честное слово, впервые в жизни меня целовали по-настоящему, и я помню, что не умывалась ни в тот вечер, ни следующим утром, дабы сохранить нетленные следы этих поцелуев на лице. (Сами увидите, что во всей этой истории мое поведение было банальным до боли.) Спустя два месяца и несколько этапов ухаживания он меня бросил. Увлекся девочкой, которая играла с ним в рождественской инсценировке «Гордости и предубеждения».

Я сказала, что не хочу иметь ни малейшего отношения к этому действу, и мое место гримерши заняла другая девочка, но в конце концов я не выдержала — пришла на премьеру и села рядом со своей подругой Джойс, которая участливо сжимала мне руку всякий раз, когда душа моя переполнялась болью и восторгом при виде мистера Дарси, в белых бриджах, шелковой жилетке и с бачками. Мартин в роли Дарси и в самом деле так действовал на меня. Все девушки

и без того влюблены в Дарси, но Мартину эта роль придавала столько надменности и мужского шарма в моих глазах, что я намертво забыла: он всего лишь старшеклассник средней смазливости и заурядных умственных способностей (и к тому же с репутацией, слегка подпорченной такими предпочтениями, как «Драматический клуб» и «Студенческий сводный оркестр»), которого угораздило стать первым парнем, первым действительно презентабельным парнем, проявившим ко мне интерес. В последнем акте ему дали возможность заключить в объятия Элизабет (Мэри Бишоп, с землистым лицом и полным отсутствием фигуры, но зато с огромными живыми глазами), и в течение всей этой реалистической сцены я ожесточенно впивалась ногтями в сочувственную ладонь Джойс.

В этот вечер для меня начался месяц неподдельных страданий (которые так или иначе я сама себе и причиняла). И что это за искушение задним числом относиться к такого рода событиям легко, иронически или даже с удивлением — и как это, мол, меня в безотчетном прошлом сподобило поддаться таким нелепым чувствам? А что же еще делать, если уж речь зашла о любви? И конечно, для подростковой любви это

практически неизбежно. Можно подумать, мы сидели унылыми вечерами напролет и бередили душу лакомыми кусочками воспоминаний о пережитой боли! Но мне на самом деле совсем не весело, хуже того — это меня совершенно не удивляет, когда я вспоминаю все те глупые, стыдные поступки, которые всегда совершает тот, кто влюблен. Я бродила вокруг тех мест, где бывал он, притворяясь, что не замечаю его. Я предпринимала дурацкие головоломные уловки, чтобы в разговоре упомянуть его имя и испытать при этом горькое наслаждение. Я погрузилась в бесконечные грезы, и если хотите прибегнуть к математике, то скажу, что, вероятно, провела в десятки раз больше часов, думая о Мартине Колингвуде — да, в тоске и слезах о нем, — чем когда-либо провела с ним вместе; мысли о нем неустанно владели моим сознанием, а спустя какое-то время — даже против моей воли. Ведь если сначала я драматизировала свои чувства, то с течением времени уже и рада была бы о них забыть, мои затасканные мечты стали угнетать меня и не приносили даже временного утешения. Решая задачки по математике, я изводила себя, вспоминая, как Мартин целовал меня в шею. И такие воспоминания у меня были *обо всем.* Как-

то ночью меня дернуло проглотить всю упаковку аспирина, сидя в ванной, но я опомнилась после шестой таблетки.

Мама заметила, что я не в себе, и скормила мне несколько железосодержащих пилюль.

— У тебя в школе действительно все в порядке? — спросила она.

Какая там школа! Когда я пожаловалась, что между мной и Мартином все кончено, она сказала только:

— Ну что ж, тем лучше, раз так. Более самовлюбленного мальчишки я в жизни не встречала.

— Да уж, нос дерет — и не споткнется, — ответила я мрачно и ушла наверх плакать.

К Берриманам я пришла в субботу вечером. Я довольно часто сидела с их малышами по субботам, потому что они любили прокатиться в Бейливиль — более крупный и оживленный город милях в двадцати от нашего, — наверное, чтобы там поужинать и сходить на концерт. Они жили в нашем городке всего года два или три. Мистера Берримана назначили директором новой фабрики по производству дверей, и они с женой добровольно, как мне кажется, оставались на обочине здешнего сообщества. Большинство их друзей были молодые пары вроде них самих,

населявшие новые коттеджи в стиле ранчо, выстроенные за городом на том холме, с которого мы всю жизнь катались на санках. В ту субботу у них выпивали еще две пары перед тем, как всем вместе поехать в Бейливиль на открытие нового ресторана, у всех было праздничное настроение. Я сидела на кухне и делала вид, что учу латынь. Накануне вечером состоялся «Весенний бал» для старшеклассников. Я туда не пошла, потому что единственным парнем, пригласившим меня, оказался Миллерд Кромптон, который пригласил еще столько девчонок, что закралось подозрение — а не шел ли он просто по списку класса в алфавитном порядке? Но танцы устраивались в клубе «Арморизе» всего в двух кварталах от моего дома, и мне в окошко было видно, как мальчишки в черных костюмах и девчонки в вечерних платьях пастельных тонов, выглядывающих из-под пальто, чинно шествуют под уличными фонарями, старательно обходя последние серые лоскутки снега. Я даже слышала музыку, о, мне не забыть этот день, ведь там играли «Балерину» и — господи боже — песню моего саднящего сердца «Хочу уплыть с тобой на тихой лодочке в Китай». Джойс позвонила мне наутро и рассказала, утешая (мы, наверное, опять обсуждали мой неизлечимый

недуг), что да, М. К. действительно был с М. Б., а та вырядилась в платье, сшитое, похоже, из чьей-то старой кружевной скатерти, оно на ней просто висело.

Когда Берриманы и их друзья отбыли, я пошла в гостиную и углубилась в чтение журналов. У меня была смертельная депрессия. Большая, мягко освещенная комната в зеленых и бурых лиственных тонах несуетно создавала условия для развития эмоций, как на сцене. Дома чувства тоже никуда не девались, но всегда казалось, что там они похоронены под грудой дел: штопкой, глажкой, детскими головоломками и коллекциями камешков. В домах такого рода люди вечно сталкиваются на лестнице и громко слушают трансляции хоккейного матча или «Супермена» по радио.

Я встала, отыскала среди берримановских пластинок «Пляску смерти», поставила ее на проигрыватель и приглушила свет в гостиной. Сквозь неплотно задернутые шторы в окно лился косой свет фонаря, в мутном золотом квадрате света качались голые ветки, охваченные могучими и нежными токами весеннего ветра. В эту кроткую непроглядную ночь стаял последний снег. Год назад все это — и музыка, и ветер, и

темнота, и тени ветвей — наполнило бы меня безмерным счастьем, но не теперь… теперь они лишь пробуждали до тошноты знакомые, какие-то унизительно-личные мысли, я смирилась с тем, что душа моя погибла навек, и побрела на кухню, решив напиться.

Нет, вообще-то, не за этим я пошла на кухню. Я просто хотела посмотреть, нет ли в холодильнике какой-нибудь колы, а там на самом видном месте красовались три роскошные длинношеие бутылки, каждая приблизительно наполовину полна золотистым напитком. Но и после того, как я оглядела их и взвесила каждую в руке, я не собиралась напиваться. Я решила чуточку выпить.

Вот тут-то моя наивность, моя губительная невинность и сказалась. Это правда, я видела, что Берриманы с друзьями хлещут коктейли, как я колу, но я вовсе не собиралась им подражать. Нет-нет! Я считала, что крепкие напитки пьются только в крайних случаях и так или иначе следует опасаться самых сумасбродных последствий. Словом, на жидкость эту я смотрела, точно Русалочка — на ведьмино зелье в хрустальном фиале. Медленно и степенно, глядя на свое отражение в темном оконном стекле над раковиной, я отливала по чуть-чуть из каждой бутылки (теперь я

думаю, что это были два сорта ржаного виски и дорогущий скотч), пока мой бокал не наполнился. Я ведь никогда не видела, как люди пьют, и понятия не имела, что обычно они разбавляют спиртное водой, содовой и прочим, я только видела бокалы в руках гостей Берриманов, проходя через гостиную, и замечала, что бокалы эти почти полны.

Я выпила виски так быстро, как только могла, поставила бокал и посмотрела на свое лицо в оконном стекле, почти уверенная, что увижу там нечто искаженное до безобразия. В горле пекло ужасно, но больше я ничего не чувствовала. Мне стало очень обидно, когда я это поняла. Но я не собиралась сдаваться. Снова наполнив бокал, я долила каждую бутылку водой, чтобы все выглядело примерно как до моего прихода. Вторую порцию я выпила медленнее, чем первую. Я осторожно поставила пустой бокал на стол, уже чувствуя, как в голове начинается толкотня и сумятица, вышла в гостиную и села в кресло. Потом потянулась к выключателю и зажгла торшер, стоявший рядом с креслом, и тут комната прыгнула на меня.

Говоря о сумасбродных последствиях, я не имею в виду, что ожидала именно этого. Я-то думала о

каких-то потрясающих эмоциональных сдвигах, всплеске веселья и бесшабашности, ощущении беззаконности и безнаказанности, сопровождаемых легким головокружением, ну в крайнем случае — глупым хихиканьем в голос. Я не рассчитывала, что потолок будет кружиться, как большая тарелка, которой кто-то в меня запустил, что кресла и стулья растекутся бледно-зелеными пятнами и станут сползаться и расползаться, играя со мной в игру, исполненную огромной бессмысленной неживой злобы. Голова моя откинулась, я закрыла глаза. И тут же их открыла, просто вытаращила, высвободилась из лап кресла и бросилась со всех ног по коридору и успела — слава богу, слава богу! — добежать до ванной Берриманов, где меня и вырвало — вырвало всем, что было, — а потом я камнем рухнула на пол.

С этого момента я не очень последовательно представляю всю картину случившегося, мои воспоминания следующих часа-двух раскололись на яркие и неправдоподобные кусочки, а между ними — мрак и неизвестность. Помню, что лежала поперек ванной комнаты, глядя искоса на белые шестигранные плитки пола, соединенные в такой восхитительный и логичный узор, смотрела на них с мимолетной рассеянной благо-

дарностью и здравомыслием человека, которого только что вывернуло наизнанку. Потом помню, как сидела на табуретке в холле и заплетающимся языком просила соединить меня с номером Джойс. Ее мама (женщина довольно безмозглая, которая, похоже, не сообразила, в чем дело, за что я ей была благодарна в меру своих слабых сил) ответила, что Джойс у Кэй Стрингер. Я не знала номера Кэй, поэтому просто спросила у телефонистки, — я чувствовала, что не рискну заглянуть в телефонную книгу.

Я не дружила с Кэй Стрингер, но она была новой подругой Джойс. О ней говорили всякое из-за ее буйного нрава и длинного хвоста волос очень странной, хотя и натуральной пестрой расцветки — от мыльно-желтого до карамельно-коричневого. Она водилась со многими парнями, куда более классными, чем Мартин Колингвуд, парнями, которые бросили школу или были импортированы в город для игры в местной хоккейной команде. Кэй и Джойс катались с этими парнями на машинах, иногда уезжали с ними — конечно, наврав с три короба матерям — в загородный танцклуб «Веселое кабаре», что на север по шоссе.

Джойс взяла трубку. Она была очень взвинчена, как всегда в присутствии парней, и едва ли

слышала, что я ей сказала.

— Ой, сейчас я не могу, тут ребята, мы собираемся сыграть в карты. Помнишь Билла Клайна? Он тут. Росс Армор…

— Меня тошнит, — сказала я, стараясь говорить отчетливо, но получилось какое-то несуразное кваканье. — Джойс, я напилась! — Тут я свалилась с табуретки, выронив трубку, и трубка несколько раз понуро стукнулась о стенку.

Я не сказала Джойс, где нахожусь, и вот после недолгих раздумий она позвонила моей маме и со всей предосторожностью и гипертрофированной изобретательностью, которая так свойственна девчонкам, выведала это у нее. Она, Кэй и парни — их было трое — выдумали для матери Кэй историю, куда они едут, сели в машину и умчались. Они нашли меня так и лежащей на ковре в коридоре. Меня вырвало снова, но на этот раз уже не в ванной.

Оказалось, что Кэй Стрингер, совершенно случайно оказавшаяся на месте происшествия, именно тот человек, который был мне так необходим. Она обожала такие вот события, скандальную подоплеку которых необходимо сохранить в тайне от мира взрослых. Кэй взялась за дело страстно, агрессивно, эффективно. Эта энер-

гия, которая порой кажется необузданностью, на самом деле — избыток великого женского инстинкта созидания, комфорта и контроля. Я слышала ее голос, который доносился ко мне со всех сторон. Голос просил меня успокоиться, а Джойс он велел найти самый большой кофейник и заварить кофе (*крепкий* кофе), он велел парням поднять меня и положить на диван. Потом сквозь туман моего сознания ее голос требовал щетку.

После я лежала на диване, укрытая чем-то вроде вязанного крючком лоскутного покрывала, которое они нашли в спальне. Голову поднимать не хотелось. Дом пропах кофе. Зашла Джойс, вид у нее был очень бледный. Она сказала, что дети Берриманов проснулись, но она дала им печенья и велела снова лечь в кроватки — все в порядке, она не позволила им выйти из спальни, так что они, скорее всего, ничего не вспомнят. На пару с Кэй она вымыла ванную и коридор, правда она боится, что на ковре так и останется пятно. Кофе был готов. Я плохо соображала. Парни включили проигрыватель и просматривали коллекцию грампластинок Берриманов, разложив их на полу. Я чувствовала, что творится нечто странное, но не было сил думать об этом.

Кэй принесла мне огромную кружку, до краев

наполненную кофе.

— Не знаю, смогу ли я, — сказала я. — Спасибо.

— Сядь-ка! — скомандовала она, как будто возилась с пьяными каждый божий день, и мне не было нужды чувствовать себя какой-то особенной. (Я снова услышала и сразу узнала эту интонацию годы спустя — в родильном отделении.) — А теперь пей.

Пока пила кофе, я сообразила, что сижу в одних трусах. Джойс и Кэй сняли с меня юбку и блузку. Юбку они вычистили, а блузку, благо та была нейлоновая, выстирали и повесили сушиться в ванной. Я натянула покрывало до подмышек, и Кэй рассмеялась. Она предложила всем кофе. Джойс принесла кофейник и, по инструкции Кэй, подливала мне в чашку, по мере того как я выпивала. Кто-то поинтересовался:

— Ты, наверное, и вправду хотела надраться?

— Нет, — ответила я, слегка надувшись, но послушно прихлебывая кофе. — Я выпила всего два бокала.

Кэй засмеялась:

— Ну, тебе здорово вставило, должна сказать. Как ты думаешь, когда *они* вернутся?

— Поздно. После часа, наверное.

— К этому времени ты должна быть как огур-

чик. Выпей еще кофе.

Один из парней позвал Кэй танцевать под проигрыватель. Кэй двигалась очень сексуально, но лицо ее хранило нежное, недосягаемое и снисходительное, немного холодноватое выражение, точно такое, с каким она усаживала меня пить кофе. Парень что-то шептал ей, а она улыбалась и качала головой. Джойс сказала, что проголодалась, и пошла пошарить на кухне — вдруг там есть чипсы, или крекеры, или еще что-нибудь, что можно съесть, не причинив заметного ущерба. Пришел Билл Клайн, сел рядом со мной и стал гладить мне ноги через покрывало. Он ничего не говорил, просто гладил мне ноги и смотрел на меня, и на лице у него было, как мне казалось, такое глупое выражение, полубольное, нелепое и тревожное. Мне было страшно неловко. Я все недоумевала, как это может Билл Клайн, с таким-то выражением лица, выглядеть таким красавцем? Я нервно шевельнула ногами, а он презрительно посмотрел на меня, но гладить не перестал. Тогда я сползла с дивана, завернувшись в покрывало, — мне пришло в голову пойти в ванную и проверить, высохла ли моя блузка. Меня слегка качало, и не знаю зачем, может быть, чтобы показать Биллу Клайну, что он меня ни

капли не испугал, я немедленно стала качаться сильнее и выкрикнула:

— Смотрите, как я иду по прямой!

Шатаясь и спотыкаясь, я брела в сторону коридора под всеобщий смех. Я остановилась в дверном проеме между гостиной и коридором, когда ручка входной двери повернулась с коротким сухим щелчком, и все позади меня стихло, кроме музыки, конечно, а вязаное покрывало, вдохновленное каким-то своим собственным утонченным злым умыслом, упало к моим ногам, и вот — о, этот восхитительный миг, развязка хорошо разыгранного фарса! — появились Берриманы, мистер и миссис, с такими лицами, о которых любой старомодный постановщик фарсов мог только мечтать! Они наверняка подготовили эти выражения, разумеется, их невозможно было бы изобразить в момент первоначального шока. Мы так шумели, что они не могли не услышать нас, как только вышли из машины, и по той же самой причине их не услышали мы. Не думаю, что когда-нибудь узнаю, что заставило их вернуться так рано — головная боль, ссора, — я была не в том положении, чтобы задавать вопросы.

Мистер Берриман отвез меня домой. Я не помню, как села в машину, и как нашла одежду и

оделась, и что я сказала, если вообще сказала, на прощание миссис Берриман. Я не помню, что стало с моими друзьями, но представляю, как они похватали пальто и разбежались, прикрывая свое бесславное бегство вызывающим ревом мотора. Я помню, как Джойс, с коробкой крекеров в руках, говорила, что мне стало очень плохо оттого, что я переела — кажется, она сказала *кислой капусты* — за ужином, и позвонила им, чтобы они мне помогли. (Позже, когда я ее спросила, как они это восприняли, она ответила: «Это было бесполезно. От тебя за милю *несло*».) И еще я помню, как она говорила: «О нет, мистер Берриман, умоляю вас, мама такая нервная, я не представляю, какой это будет шок для нее. Ну, хотите, я на колени встану, только, пожалуйста, пожалуйста, не звоните маме!» Картина коленопреклоненной Джойс не сохранилась в моей памяти — она могла сделать это в любую минуту, но, похоже, угроза так и не была приведена в исполнение.

Мистер Берриман сказал мне:

— Ну, я полагаю, ты понимаешь, что твой сегодняшний проступок крайне серьезен. — Он старался говорить таким тоном, как будто меня должны судить за преступную халатность, а то и чего похуже. — И с моей стороны было бы совер-

шенно неправильно закрыть на это глаза.

Кажется, несмотря на гнев и отвращение *ко мне*, его беспокоило то, что он везет меня домой в таком состоянии — к моим родителям, людям строгих правил, которые всегда могут сказать, что я нашла спиртное в его доме. Многие ярые трезвенники решат, что этого достаточно, дабы призвать его к ответу, а в городе уйма ярых трезвенников. В его деловых интересах сохранить добрые отношения с жителями города.

— Я думаю, это случилось не впервые, — сказал он. — Если бы впервые, откуда у девочки достанет хитрости долить водой сразу три бутылки? Нет. Ну, в этом случае она была достаточно хитра, чтобы долить, но недостаточно, чтобы догадаться, что я могу уличить ее. Что ты на это скажешь?

Я открыла рот, чтобы ответить, но, хотя я и чувствовала себя довольно протрезвевшей, единственным звуком, который оттуда вырвался, было громкое безрадостное хихиканье. Он притормозил у нашего дома.

— Свет горит, — сказал он. — Иди и как на духу расскажи обо всем родителям. И помни, если ты не расскажешь, то расскажу я.

Он даже не заикнулся о том, чтобы заплатить мне за вечер, проведенный с его детьми, да и мне

было как-то не до того.

Я вошла в дом и попыталась сразу проскользнуть наверх, к себе в комнату, но мама меня окликнула. Она вышла в переднюю, там было темно, потому что я не включала свет, и она, наверное, унюхала меня, потому что изумленно вскрикнула и бросилась вперед, как будто увидела, что кто-то падает. Мама схватила меня за плечи, потому что я действительно валилась через перила, сраженная своей фантастической невезучестью, и тогда я рассказала ей все с самого начала, не забыв упомянуть даже Мартина Колингвуда и мои игрища с флаконом аспирина, что было ошибкой.

В понедельник утром мама села на автобус до Бейливиля, нашла там винно-водочный магазин и купила бутылку скотча. Потом ей пришлось ждать обратного автобуса, на остановке она встретила нескольких знакомых, а бутылка торчала из сумки, и мама мысленно ругала себя последними словами, что не взяла подходящей хозяйственной торбы. Вернувшись в городок, она, пропустив ланч, направилась прямо к Берриманам. Мистер Берриман еще не ушел на фабрику. Мама зашла к ним, поговорила с ними обоими и произвела прекрасное впечатление,

а потом мистер Берриман подвез ее домой. Она разговаривала с ними открыто и без лишних эмоций, как умеет только она, и это всегда приятно удивляет людей, приготовившихся к непростому разговору с матерью. И мама рассказала им, что, хотя я довольно хорошо учусь в школе, я крайне заторможена или весьма эксцентрична в своем эмоциональном развитии. Представляю, какое впечатление этот анализ моих поступков произвел на миссис Берриман — большую поклонницу книг по детской психологии и педагогике. Отношения между ними потеплели, когда мама раскрыла специфический аспект моих трудностей и обезоруживающе перешла к истории с Мартином Колингвудом.

Несколько дней спустя весь город знал и вся школа знала, что я пыталась покончить с собой из-за Мартина Колингвуда. Но к тому времени и весь город, и вся школа знали, что в субботу вечером Берриманы обнаружили меня пьяную, шатающуюся и в одних трусах в комнате с тремя парнями, одним из которых был Билл Клайн. Мама сказала, что я должна заплатить за бутылку, которую она отнесла Берриманам, из тех денег, что заработаю, нянча детишек, однако все мои клиенты растаяли, словно последний апрельский

снег, и бутылка так и осталась бы неоплаченной, если бы в июле в доме напротив не поселились новые жильцы, которым понадобилась нянька до того, как они успели пообщаться с соседями.

Еще мама сказала, что было большой ошибкой позволить мне гулять с мальчиками и что я не выйду за порог, пока мне не исполнится шестнадцать, раз так. Это оказалось вовсе не так уж трудно, потому что почти до шестнадцати лет меня и так никто не приглашал на свидания. Если вы думаете, что приключение у Берриманов сделало меня желанной участницей оргий и пьянок в городе и округе, то вы очень сильно ошибаетесь. Чрезвычайная огласка, которую получил мой первый дебош, похоже, оставила на мне несмываемую метку злой судьбы, как на девушке, которая, забеременев без мужа, разродилась бы целой тройней: все от нее шарахались бы. Как бы то ни было, у меня одновременно были и самый молчаливый телефон, и самая испорченная репутация среди всех старшеклассниц. Мне пришлось мириться с этим аж до следующей осени, когда толстая блондинка из десятого класса сбежала с женатым мужчиной, а двумя месяцами позже ее нашли в местечке Су-сен-Мари, живущей во грехе — уже с другим. Тогда все тут же обо мне забыли.

Однако у этого дела был и положительный, неожиданно замечательный результат: я совершенно исцелилась от Мартина Колингвуда. И не только потому, что он тут же повсюду стал болтать, будто всегда считал меня ненормальной и, мол, в том, что касается его, гордости у меня не было ни капли; всего лишь месяц, даже неделю назад моя нежная фантазия справилась бы и с этим, нашла бы обходной путь. Так что же именно вернуло меня к жизни? Ужасная и завораживающая реальность моего бедствия, то, *как именно все произошло.* Нет, не то чтобы мне это нравилось. Я была застенчивая девушка и здорово настрадалась оттого, что на меня все показывают пальцем. Но то, как развивались события в тот субботний вечер, — вот что очаровало меня, я чувствовала, что мне довелось воочию увидеть бессовестную, завораживающую, потрясающую абсурдность того, как сама жизнь импровизирует свои невыдуманные сюжеты. Я видела это и глаз не могла отвести.

И конечно же, Мартин Колингвуд сдал свой выпускной экзамен в июне и уехал в большой город учиться в школе похоронных агентов — по-моему, это так называется, — а вернувшись, стал работать в салоне ритуальных услуг у своего дяди.

Мы жили в одном городе и слышали друг о друге почти все, но, думаю, мы много лет не встречались лицом к лицу и вообще не видели друг друга, разве что издалека. Да, наверно, я действительно с ним не встречалась, пока, будучи замужем уже несколько лет, не приехала домой на похороны какого-то родственника. Тогда-то я и увидела его. Он был, конечно, уже не совсем мистер Дарси, но по-прежнему прекрасно смотрелся в черном костюме. И я встретила его взгляд, и выражение его лица было настолько близко к улыбке, насколько позволяли обстоятельства, и я знала, что он был удивлен, вспомнив о моей преданности и о моей маленькой, давно погребенной катастрофе. И я ответила ему нежным непонимающим взглядом. Теперь я уже взрослая женщина, а он пускай выкапывает из могил собственные катастрофы.

Время смерти

Когда все закончилось, мать — Леона Пэрри — лежала на кушетке, кутаясь в стеганое лоскутное одеяло, а женщины все подкладывали и подкладывали поленья в огонь, хотя в кухне было не продохнуть от жары, и никто не включал свет. Леона сделала пару глотков чая, отказавшись от еды, и все пыталась вступить зазубренным и упористым голосом, пока, впрочем, без истерических ноток: Я вышла из дому всего-то на двадцать минут, всего-то двадцать минут меня не было…

(Три четверти часа, не меньше, подумала Элли Макги, но ничего не сказала — не время теперь. Но она это помнила, потому что каждый день слушала по три радиоспектакля, а тут и до середины второго не дошла — Леона сидела у нее на кухне и все тарахтела о своей Патриции. Леона пришла к Элли шить на ее ножной машинке ковбойский костюм для Патриции. Она строчила с бешеной скоростью, резко останавливалась и дергала нитку, вместо того чтобы сначала медленно провернуть колесо в обратную сторону, а уж потом оборвать, хотя Элли так просила ее не дергать,

а то иголка сломается. В тот вечер Патриция должна была в этом костюме выступать на концерте — она пела кантри. Патриция выступала в эстрадном ансамбле «Мейтленд-Вэлли», который разъезжал по всей округе, играя на концертно-танцевальных вечерах. В афишах Патриция значилась как «Милашка из Мейтленд-Вэлли», «Белокурая крошка» или «Маленькая детка с большущим голосом». Голос у нее действительно был сильный, почти пугающе мощный для такой хрупкой девочки. Леона с трех лет выпускала ее петь на публике.

И хоть бы разок испугалась, говорила Леона — подавшись вперед, она рывками качала педаль машинки, — выступает как дышит. Полы кимоно Леоны чуть оттопырились, открывая тощие ключицы и увядшие груди с выпуклыми синеватыми ручейками вен, стекавшими в грязно-розовую ночнушку. Ей до лампочки, хоть бы и сам король Англии глядел на нее, — встанет и споет, а как споет, то по-своему так, по-особому сядет. И имя у нее подходящее для артистки — так и хочется объявить со сцены: «Патриция Пэрри» — как звучит, а? Да еще и блондинка. Приходится накручивать ее на тряпочки каждую ночь, но кудрявых-то полно, а натуральные блондинки — это редкость.

Они не темнеют, кстати, эта ветвь в нашем роду не темнеет. Помнишь, я тебе рассказывала про свою кузину — ту, которая победила в конкурсе «Мисс Сент-Катарине» в тридцать шестом, — у нее такие волосы и еще у покойной тети…)

Элли Макги ничего не сказала, и Леона, отдышавшись, погрузилась в причитания снова: Двадцать минут. И я же ей сказала перед уходом: следи за детьми! Ей ведь девять лет уже. Я только через дорогу сбегаю, тебе костюм дошью, а ты присматривай за детьми. Я вышла за дверь, спустилась по лестнице, прошла через сад, а когда взялась за крючок на калитке, что-то меня остановило, а подумала: *что-то не так*! Но что не так? — спросила я себя. Я остановилась и обернулась, но увидела только кукурузные стебли и мерзлую капусту в огороде — в этом году вся пропала, посмотрела на дорогу, а там только старый пес Манди перед калиткой у них разлегся, ни машин поблизости не было — ничего, и во дворах пусто, а я еще подумала, что холодно — детишки не гуляют… Господи, думаю я, может, я дни перепутала, и сегодня не простая суббота, а какая-то особенная, а я и забыла… А потом думаю, всего-то-навсего снег собирается, я прям чувствовала, как в воздухе стыло, и лужицы на

дороге ледком взялись и хрустели, но снега так и не было, да? Снега-то так и не было пока… И я побежала на ту сторону, к крыльцу Элли Макги, и Элли говорит, Леона, что с тобой такое, на тебе лица нет, говорит…

Элли Макги это тоже слышала, но ничего не сказала — не время сейчас для уточнений. Голос Леоны крепчал, и в любую минуту она была готова сорваться на крик: Не подпускайте ко мне эту девчонку, просто уберите ее с глаз моих долой.

А женщины, сгрудившиеся в кухне, плотнее обступили кушетку — в полумраке их большие тела сделались размытыми, а на лицах застыли тусклые и отяжелевшие ритуальные маски скорби и сострадания. Приляг, приляг, Леона, говорили они монотонно, свершая обряд утешения. Приляг, Леона, ее здесь нет, успокойся…

А девушка из Армии спасения произносила мягким ровным голосом: Вы должны ее простить, миссис Пэрри, она ведь еще дитя. И еще эта девушка из Армии спасения сказала: На то воля Божья, поймите это. А та, что постарше, тоже из Армии спасения, с масляным одутловатым лицом и почти мужским голосом, прибавила: В райском саду дети расцветают, как цветы Божьи. Господу понадобился еще один цветок, и Он взял твоего

малыша. Ты должна возблагодарить Его за это, сестра, и возрадоваться.

Остальным женщинам стало не по себе от этих слов, лица у них были смущенные и по-детски торжественные. Они заварили чай и сели к столу, где лежали пирожки, кексы и блинчики, — что-то они сами напекли, что-то нанесли другие соседки. Никто ничего не ел, потому что Леона есть не стала. Многие женщины плакали, не плакали только эти две — из Армии спасения. Элли Макги плакала тоже. Она была женщина дородная, круглолицая, полногрудая. И бездетная. Леона скорчилась под одеялом и раскачивалась туда-сюда, ее голова то наклонялась, то приподнималась (некоторые со стыдом приметили полоску грязи у нее на шее). Потом она приуспокоилась и сказала, вроде как удивленно: Я его до десяти месяцев грудью кормила. Он был такой послушный, его в доме-то не слышно и не видно было. Я всегда говорила, что он у меня самый лучший ребенок.

В сумраке перетопленной кухни женщины всей своей материнской плотью ощущали эту высокую скорбь. Они склоняли голову перед неряшливой, неприятной и безутешной Леоной. Когда заходили мужчины — отец, двоюродный брат, или сосед приносили дров, или, конфузясь,

спрашивали поесть, — они сразу, осекаясь на полуслове, чувствовали некий молчаливый упрек в свой адрес. Выходя прочь, они говорили остальным: Да… Они все там. А отец, слегка под градусом и на взводе оттого, что от него ждут чего-то, а он сам не знает чего, говорил: Да уж, выплачь они хоть все глаза, Бенни это не поможет.

Ирен и Джордж вырезали из журнала кукол и всякую всячину. У них было готово уже целое кукольное семейство: мама, папа и дети, и теперь они вырезали для них одежки. Патриция, поглядев, как они вырезают, сказала: Эх, мелюзга, да кто же так вырезает! Смотрите, у вас повсюду белые края! Ваши одежки и держаться-то не будут, сказала она, вы им все загибалки срезали. Она взяла ножницы и вырезала очень аккуратно, не оставляя ни единого белого краешка. Ее бледное смышленое личико чуть склонилось набок, губы плотно сомкнулись. Патриция все делала, как взрослая, у нее ничего и никогда не бывало «понарошку». Она не играла в певицу, хотя собиралась стать певицей, когда вырастет, — может быть, петь в кино или на радио. Она любила рассматривать журналы про кино, журналы, в которых печатали картинки красивых нарядов или шикарных комнат, она заглядывалась в окна

некоторых красивых домов в новом районе на окраине.

Бенни пытался вскарабкаться на кушетку. Он вцепился в журнал, и Ирен треснула его по руке. Бенни захныкал. Патриция ловко подхватила его и отнесла к окошку. Она поставила брата на табуретку перед окном и сказала: Гав-гав, Бенни, смотри, там гав-гав, — собака Манди встала, отряхнулась и медленно затрусила по дороге.

Гав-гав, вопросительно сказал Бенни, хлопнув ладошкой по стеклу, и прижался лицом к окну, чтобы увидеть, куда же ушла собака. В свои полтора года Бенни говорил только «гав-гав» и «Брэм». Брэмом он называл точильщика, который изредка проходил мимо. Его звали Брэндон. Бенни его узнавал и всегда бежал встречать. Другие дети уже в год с небольшим знали гораздо больше слов, чем знал Бенни, и умели куда больше, чем делать ручками «па-па» и «ладушки», большинство деток были красивее на вид. А Бенни был долговязый и худенький, а на лицо — вылитый отец, такой же бледный, молчаливый и безнадежный, не хватало только замызганной фуражки. Но он был хороший мальчик. Мог часами стоять и просто смотреть в окно, повторяя «гав-гав, гав-гав» — то тихо и вопросительно, то

призывно, нараспев, барабаня ладошками в стекло. Он любил сидеть на ручках, любил, когда его обнимали и качали, как грудничка, — лежит себе, смотрит и улыбается, не то робко, не то настороженно. Патриция знала, что он просто глуп, а она ненавидела глупых. Но Бенни был единственным глупым существом, которое она не ненавидела. Она вытирала ему нос — умело и невозмутимо, пыталась научить его новым словам, требуя, чтобы он повторял за ней: она близко-близко наклонялась к его лицу и твердила настойчиво: При-вет, Бенни, скажи *при-вет*, а он смотрел на нее и улыбался в ответ своей неповоротливой, неуверенной улыбкой. От этого у нее возникало такое чувство, такое — вроде усталости и безысходности, и она уходила, оставив его в покое, и погружалась в журналы о кино.

На завтрак у нее был только чай с куском сдобной булки, и теперь она проголодалась. Пошарив среди немытой посуды на заляпанном молоком и кашей кухонном столе, Патриция нашла булку, но та раскисла в луже молока и была отвергнута.

Как же тут смердит, сказала она. Ирен и Джордж и ухом не повели. Патриция поковыряла носком прилипший к линолеуму комок овсянки. Гляньте на это, сказала она. Только гляньте *на это*! Поче-

му здесь всегда такой бардак! Она прошлась по кухне, слегка пиная мебель. Затем достала из-под раковины ведро и ковшик и стала наполнять ковш водой из бака над плитой.

Я отмою этот дом, сказала она. Его никогда не моют как надо. Перво-наперво отдраю полы, а вы, мелюзга, будете мне помогать.

Она поставила ковш на плиту.

Вода и так горячая, сказала Ирен.

Горячая, но недостаточно. Она должна быть крутой кипяток. Я видела, как миссис Макги драит полы *у себя*.

Они пробыли у миссис Макги всю ночь. Их отвели сюда, как только приехала «скорая». Они видели, как Леона и миссис Макги и другие соседки стали снимать с Бенни одежду, его кожа, кажется, тоже слезала, а Бенни издавал звуки, совсем не похожие на плач, они больше походили на те звуки, которые издавала соседская собака, когда ей машина переехала задние лапы, только страшнее и громче… Но миссис Макги их заметила. И закричала: Уходите, сейчас же уходите отсюда! Идите ко мне домой! — кричала она. Потом приехала «скорая» и увезла Бенни, а миссис Макги пришла и сказала, что Бенни положили в больницу, что он там побудет, а они

пока останутся у нее на время. Она дала им по бутерброду с арахисовым маслом и по бутерброду с клубничным джемом.

Они спали на пуховой перине, застланной отглаженными простынями без единой морщинки. Одеяла были светлые и пушистые и совсем чуточку пахли шариками от моли. А сверху на кровати лежало стеганое покрывало «Звезда Вифлеема», они знали, как оно называется, потому что, когда они укладывались спать, Патриция воскликнула: Боже, какое чудесное одеяло! И миссис Макги, которая, кажется, была сбита с толку и очень расстроена, ответила: Ах да, это «Звезда Вифлеема».

В гостях у миссис Макги Патриция вела себя очень культурно. Дом был, конечно, не такой изысканный, как некоторые дома в новом квартале, но его фасад был облицован плиткой под кирпич, а внутри был декоративный камин и папоротник в корзинке. Он был совсем не то, что другие дома по обе стороны шоссе. И мистер Макги работал не на заводе, как остальные мужчины, он служил в магазине.

Ирен с Джорджем до того стеснялись и робели в чужом доме, что даже не отвечали, когда с ними заговаривали.

Они проснулись ни свет ни заря и лежали ли-

цом вверх на чистых постелях и смотрели, как комнату наполняет свет. В этой комнате висели лиловые шелковые шторы и жалюзи, на обоях красовались лиловые и желтые розочки — это была комната для гостей. Патриция так и сказала: Мы спим в гостевой.

Мне надо выйти, сказал Джордж.

Я покажу тебе, где у них туалет, сказала Патриция, он в конце коридора.

Но Джордж наотрез отказался выходить в коридор. Он не любил туалетов. Патриция попыталась его заставить, но он уперся.

Посмотри, вдруг под кроватью есть горшочек, сказала Ирен.

Здесь все ходят в туалет, никаких горшков тут не держат, разозлилась Патриция. Зачем им старые вонючие горшки?

Джордж флегматично ответил, что в туалет он не пойдет.

Патриция встала на цыпочки и сняла с комода большую вазу. Когда Джордж сделал в нее свои дела, она открыла окошко и выплеснула все туда, а потом вытерла вазу штанишками Ирен.

А теперь, мелюзга, сказала она, вы заткнетесь и будете лежать тихо. Никаких разговоров вслух, только шепотом.

Джордж прошептал: А Бенни еще в больнице?

Да, сказала Патриция.

Он умрет?

Сто раз говорила вам — нет.

А вдруг *умрет*?

Нет! Он только кожу обварил, внутри он не сварился. Не умрет же он оттого, что обжег кусочек кожи? Не говорите так громко.

Ирен уткнулась лицом в подушку.

Что это с тобой? — спросила Патриция.

Он так страшно кричал, сказала Ирен в подушку.

Ну, это же больно, вот и кричал. А потом его увезли в больницу и там дали ему специальное лекарство, чтобы у него не болело.

Откуда ты знаешь? — спросил Джордж.

Знаю, и все.

Какое-то время они молчали, а потом Патриция сказала: В жизни не слышала, чтобы кто-то умер оттого, что обварил кожу. Хоть всю кожу сожги — все равно новая нарастет. Ирен, перестань реветь, а то как дам!

Патриция лежала тихо, глядя в потолок, ее точеный профиль белел на лиловом фоне занавесок гостевой комнаты миссис Макги.

На завтрак им дали грейпфрут, который они,

кажется, никогда раньше не пробовали, кукурузные хлопья и тосты с джемом. Патриция в оба следила за братом и сестрой и все время их одергивала: Скажи: «пожалуйста»! Скажи: «спасибо»! А мистеру и миссис Макги она учтиво сказала: Холодный выдался денек, я не удивлюсь, если и снег сегодня выпадет, а вы?

Но они не отвечали. Лицо миссис Макги опухло. После завтрака она сказала: Погодите, дети, выслушайте меня. Ваш братик…

Ирен расплакалась, а за ней и Джордж, сквозь всхлипы он торжествующе сказал Патриции: Он все-таки умер! Патриция не отвечала. *Это все она виновата,* ревел Джордж, а миссис Макги всполошилась: Что ты, нет-нет! Но Патриция сидела неподвижно с очень вежливым лицом. Она не сказала ни слова, пока рев слегка не ослаб. Миссис Макги со вздохом встала и принялась убирать со стола. Тогда Патриция вызвалась помыть посуду.

Миссис Макги повела их в город, чтобы купить им обувь к похоронам. Патрицию на похороны не брали — ведь Леона сказала, что не хочет ее видеть до конца дней своих, но ей тоже собирались купить новые ботинки — нехорошо делать ребенка изгоем. Миссис Макги привела их в магазин, усадила и объяснила владельцу суть да дело.

Они стояли и серьезно перешептывались, качая головой. Продавец велел детям разуться и снять носки. Джордж с Ирен так и сделали, предъявив на всеобщее обозрение ножки с нестриженными, черными от грязи ногтями. Патриция прошептала миссис Макги, что хочет в туалет, и та показала ей, куда идти. Зайдя в туалет, который находился позади магазина, Патриция сняла ботинки и носки. Холодной водой она, как смогла, отмыла ноги и вытерла их бумажными полотенцами. Возвращаясь, она расслышала, как миссис Макги тихонько сказала хозяину магазина: Вы бы видели, какими после них стали простыни. Патриция прошла мимо, не подав виду, что все слышала.

Ирен и Джордж получили по паре полуботинок, а Патриция сама выбрала себе туфельки с ремешком вокруг щиколотки. Любуясь ими в низенькое зеркало на полу, она прохаживалась и прохаживалась взад-вперед, пока миссис Макги не сказала: Патриция, да забудь ты о туфлях, наконец! Можете себе представить? — шепнула она хозяину магазина на прощание.

После похорон они вернулись домой. Соседки прибрались в комнатах и вынесли все вещи Бенни. Отец после поминок до дурноты упился пивом в сарае и дома не появлялся. Мать слегла.

Три дня она хворала, а отцовская сестра присматривала за хозяйством и детьми.

Леона велела не подпускать Патрицию к дверям ее комнаты. Чтобы духу ее не было, рыдала она, видеть ее не желаю, мне никогда не забыть моего малютку! Но Патриция и не стремилась туда. Не обращая внимания на крики матери, она читала журналы про кино и накручивала волосы на папильотки. Она не замечала ничьих слез, жила, будто ничего не произошло.

Менеджер «Мейтленд-Вэлли» пришел повидать Леону. Он рассказал ей, что они готовят программу для большого концертно-танцевального вечера в Рокленде и он хотел бы, чтобы Патриция пела, если это не слишком скоро после того, что случилось. Леона ответила, что должна подумать. Она встала с кровати и пошла вниз, где Патриция сидела на кушетке, склонив голову над одним из своих журналов.

Какая у тебя чудная прическа, я смотрю, ты сама накручивалась, сказала Леона, принеси-ка мне гребень и щетку!

А невестке своей она сказала: Ну что ж, надо как-то жить дальше.

Она выбралась в город и купила ноты двух песен — «Этот круг не разорвать» и «Дела Господние

— не тайна», чтобы Патриция разучила обе и спела их в Рокленде. И она спела. Кое-кто в зале начал перешептываться, потому что люди знали про Бенни, об этом писали в газете. Они показывали пальцем на разодетую Леону, сидевшую на возвышении с поникшей головой. Она плакала. Некоторые зрители тоже плакали.

Патриция не плакала.

В первую неделю ноября (а снега все не было, снега-то так и не было) на обочине шоссе показался точильщик со своей тележкой. Дети, игравшие во дворах, заслышали его издалека, они слышали его монотонный распев, скорбный, и пронзительный, и очень странный; если не знать, что это точильщик, то подумаешь, будто это какой-то буйнопомешанный вырвался на волю. На нем было все то же замызганное бурое пальто с обтерханным подолом и все та же фетровая шляпа без тульи. Он шел вдоль дороги, зазывая, и дети мчались домой за ножами и ножницами, а потом выбегали на дорогу ему навстречу, восторженно вопя: Старый Брэндон, старый Брэндон (ведь так его звали).

И тогда со двора Пэрри донесся истошный крик Патриции: Я ненавижу этого старого точильщика! Я ненавижу его! Она стояла как вкопанная

посреди двора, с лицом сморщенным и бескровным, и кричала, кричала. На этот пронзительный, надрывный крик выбежала из дому Леона, прибежали соседки, Патрицию втащили в дом, а она все кричала. Никто не мог добиться от нее, что же случилось. Решили, что это какой-то припадок, наверное. Глаза у нее были зажмурены, а рот широко открыт, обнажая остренькие, чуть подгнившие, почти прозрачные зубы, которые делали ее похожей на хорька — несчастную зверюшку, обезумевшую от злости или страха. Ее пытались привести в чувство — трясли, хлестали по щекам, брызгали в лицо водой, наконец влили в нее большую дозу успокоительной микстуры, смешанную с приличной порцией виски, и уложили в постель.

Вот тебе и драгоценная малышка Леоны, судачили соседки, расходясь по домам. *Та еще певица*! Говорили они, потому что теперь все вернулось в нормальное русло и они недолюбливали Леону, как и прежде. Они злорадно усмехались и говорили: Да уж, будущая звезда экрана. Орала на весь двор, будто у нее мозги набекрень.

Дом этот был таким же, как и другие деревянные дома в округе — некрашеные, с крутыми залатанными крышами и узенькими покосив-

шимися крылечками, — дровяные печки, дым из труб и ребячьи мордашки, прижатые к оконным стеклам. За домами тянулась полоска земли — где распаханная, где заросшая травой и засыпанная камнями, за ней невысокие сосны, а спереди — дворы и безжизненные огороды, и серое шоссе, спешащее в город. Пошел снег. Он падал медленно, размеренно сыпал между дорогой, домами и соснами. Сначала он шел крупными хлопьями, потом снежинки становились все мельче и мельче, ложились на твердые борозды, на камни, на землю. И не таяли.

День бабочки

Я не помню, когда Майра Сайла появилась в нашем городе, хотя мы, кажется, два или три года проучились в одном классе. Мои воспоминания о ней начинаются с прошлого года, когда ее братишка Джимми пошел в первый класс. Джимми Сайла не умел самостоятельно ходить в туалет, и ему приходилось заглядывать к шестиклассникам и просить Майру, чтобы та отвела его. Частенько он добегал к Майре слишком поздно, когда его хлопковые штанишки на помочах уже украшало большое темное пятно. Тогда Майре приходилось просить учительницу: «Разрешите мне отвести братика домой, а то он описался?»

В первый раз она именно так и сказала, и, хотя Майра бормотала еле слышно, ее услышали все, кто сидел на первых партах, и тут же начали сдавленно хихикать, заставив весь класс навострить уши. Наша учительница — сдержанная, благовоспитанная девушка, носившая очки в тоненькой золотой оправе и деревянной нарочитостью поз напоминавшая жирафа, — написала что-то на листочке и показала Майре. И Майра неуверенно

произнесла: «У моего брата приключилась маленькая авария».

О позоре Джимми Сайлы знали все, и на перемене (если его не лишали перемены в наказание за какую-то провинность, что случалось не так уж редко) он не решался выйти на школьный двор, где остальная мелкота, да и некоторые мальчишки постарше, подстерегали его, чтобы загнать в отдаленный угол и, прижав к ограде, отхлестать ветками. Ему приходилась держаться возле Майры. Однако двор в нашей школе делился на две части: «для мальчиков» и «для девочек», и существовало поверье, что, попавшись на чужой половине, можно с легкостью схлопотать взбучку Джимми не мог гулять на «девочковой» половине, а Майра — на «мальчишечьей», а оставаться в школе не разрешали никому, если не было дождя или снега. И вот Майра и Джимми каждую перемену проводили на узком заднем крылечке между двумя половинами двора. Может, они наблюдали, как другие играют в бейсбол, в пятнашки, прыгают, строят шалаши из листьев осенью и снежные крепости зимой, а может, и нет. Как ни глянешь на них — сидят, сгорбив щуплые спины и чуть понурив голову, и не шевелятся. У обоих были вытянутые гладкие

овальные лица, меланхолические и застенчивые, и темные масляно-блестящие волосы. У малыша — недостаточно короткие после домашней стрижки, а Майра заплетала свои в тяжелые косы и венком укладывала вокруг головы, так что издали казалось, будто она надела тюрбан, который ей великоват. Их темные глаза, вечно прикрытые тяжелыми веками, глядели устало. Но это еще не все. Они были подобны детям на средневековых полотнах, подобны фигуркам, выточенным из дерева для поклонения или колдовства, с лицами гладкими и постаревшими до срока, лицами смиренными, загадочно-отрешенными.

Большинство учителей всю жизнь преподавали в нашей школе и на переменах отсиживались в учительской, предоставив нас самим себе. Но наша классная, молодая женщина в ломких золотых очках, присматривала за нами из окошка и время от времени выходила во двор с видом бойким и недовольным, чтобы разнять дерущихся малышек или заставить побегать старших, которые, сбившись в кучу, играли в веришь-не-веришь. Как-то раз она вышла и позвала:

— Девочки из шестого класса, я хочу вам кое-что сказать! — Она улыбнулась убедительно, искренне и страшно взволнованно, показав золо-

тистые скобки на зубах, и сказала: — У нас есть одна ученица по имени Майра Сайла. Она ведь *из вашего* класса, правда?

Мы неопределенно замычали. Но тут прорезался воркующий голос Глэдис Хили:

— Да, мисс Дарлинг!

— Хорошо. А почему она никогда не играет вместе с вами? Каждый день я вижу, как она стоит на крыльце и никто с ней не играет. Как вам кажется, у нее очень счастливый вид? А если бы *одна из вас* стояла вот так, брошенная всеми, она была бы очень счастлива, как вы думаете?

Никто не ответил. Мы смотрели прямо на мисс Дарлинг, и лица наши выражали вежливость, хладнокровие и скуку, настолько неправдоподобным был ее вопрос. А потом Глэдис сказала:

— Майра сама не гуляет с нами, мисс Дарлинг. Она присматривает за своим младшим братиком.

— О, — замялась мисс Дарлинг, — но вам все равно следует быть к ней добрее. Вам так не кажется? Не кажется? Вы же попытаетесь быть добрее, правда? Я знаю, вы так и сделаете!

Бедная мисс Дарлинг! Ее затея так быстро сдулась, а уговоры обернулись блеянием и невнятным нытьем.

Когда она ушла, Глэдис Хили проворковала:

— Вы же попытаетесь быть добрее, правда? Я знаю, вы так и сделаете! — А потом выпятила губы, обнажив ряд крупных зубов, и радостно заорала: — А мне нипочем мороз и дождик![6]

Она дошла до последнего куплета и напоследок исполнила впечатляющий пируэт, от которого вихрем взметнулась ее плиссированная юбка из шотландки. Мистер Хили держал магазин «Текстиль и женская одежда», и своим лидерством в нашем классе его дочь отчасти была обязана летящим юбкам, блузкам из органди и бархатным жакетам с медными пуговицами, а еще скороспелому бюсту и потрясающей наглости. Все мы дружно принялись передразнивать мисс Дарлинг.

Прежде мы почти не обращали внимания на Майру. Но теперь у нас появилась увлекательная игра. Она начиналась со слов: «А давайте-ка будем добрее к Майре!» После этого мы подходили к ней втроем-вчетвером и по команде спрашивали хором:

— При-вет, Майра, привет Май-ра!

А потом следовало что-то вроде:

---

[6] Примечания: 6

Из фолк-песни «Plastic Jesus» («Пластиковый Иисус») Эда Раша и Джорджа Кромарти, 1957 г.

— Чем ты моешь голову Майра? Волосы у тебя такие красивые и блестящие, Май-ра!

— О, она моет их рыбьим жиром, да, Майра? Ты моешь голову рыбьим жиром, ведь это им от тебя так воняет?

По правде говоря, от Майры действительно пахло, но это был сладковато-гнилостный запах порченых фруктов. Ведь ее родители держали фруктовую лавочку. Папаша Майры весь день восседал на табуретке под окном. Рубашка не сходилась на его объемистом пузе, и в прореху виднелись пучки черной шерсти вокруг пупа. Он жевал чеснок. Но стоило вам войти в лавку, как из-за легкой занавески, отделяющей заднюю часть магазинчика, навстречу вам бесшумно возникала миссис Сайла. Ее волосы ниспадали черными волнами, она улыбалась плотно сжатыми полными губами, растягивающимися, казалось, до невозможности. Она называла цену слегка резковатым голосом, подзадоривая вас на торг, а если вы не решались торговаться, протягивала вам пакет фруктов с нескрываемой насмешкой во взгляде.

Однажды зимним утром я очень рано шла по дороге, отлого взбиравшейся на холм, где стояла школа. Соседи подвезли меня в город. Мы жи-

ли на ферме в полумиле от города, и я должна была учиться в сельской школе неподалеку от нас, где было всего полдюжины учеников да учительница, слегка свихнувшаяся на почве жизненных перипетий. Но мама моя была женщина пробивная, она надавила на городских попечителей, чтобы меня приняли, и на папу, чтобы тот раскошелился на дополнительную плату, и я поступила в городскую школу Из всего класса только я таскала в школу завтрак в коробке и съедала свои сэндвичи с арахисовым маслом в пустой комнате отдыха с высокими потолками и горчичного цвета стенами. Только я одна весной, когда начиналась слякоть, обувалась в резиновые сапоги. Меня всегда преследовали некоторые опасения на этот счет, но я не могла понять, что именно меня тревожит.

Впереди на холме я заметила Майру и Джимми — они всегда очень рано приходили в школу, порой так рано, что им случалось ждать снаружи, пока сторож не отопрет двери. Они шли медленно, и вот Майра обернулась. Я частенько старалась идти помедленнее, чтобы какая-нибудь важная девочка, идущая сзади, нагнала меня, я не решалась просто остановиться и подождать. Теперь я догадалась, что Майра, похоже, проделы-

вает со мной то же самое. Я не могла позволить, чтобы кто-то заметил меня с ней рядом, да и мне совсем этого не хотелось, но, с другой стороны, мне льстило, что мне оказывают такую честь, оглядываясь на меня скромно и с надеждой. Роль обрела очертания, и я не могла отказать себе в удовольствии сыграть ее. Я ощутила мощный и приятный прилив благожелательности и, прежде чем поняла, что делаю, позвала:

— Майра, эй, Майра, подожди, у меня есть пачка попкорна с сюрпризом!

Она остановилась, а я прибавила шагу.

Майра ждала меня, но отводила взгляд, ждала с тем же отверженным и несгибаемым видом, с каким она обычно встречала нас. Может, она решила, что я хочу разыграть ее, может, думала, что я на бегу швырну ей в лицо пустую коробку из-под сладостей. Но я раскрыла коробку и протянула ей. Она взяла немного. Джимми уткнулся носом в ее пальто и ничего не взял, когда я предложила коробку и ему.

— Он стесняется, — сказала я примирительно. — Многие малыши стесняются. А потом перерастают, и он, наверное, перерастет.

— Да, — сказала Майра.

— Моему брату четыре, и он страшно стесни-

тельный, — соврала я. — Бери еще, раньше я все время грызла попкорн, но теперь перестала, — сказала я, — это портит цвет лица.

Молчание.

— Тебе нравится история искусств? — еле слышно спросила Майра.

— Нет. Я люблю общественные науки, правописание и основы здоровья.

— А мне нравится история искусств и математика. — Майра складывала и умножала в уме быстрее всех в классе.

— Жаль, что я не так хорошо соображаю, как ты. В математике, — сказала я и почувствовала себя образцом великодушия.

— Зато у меня правописание хромает, — возразила Майра. — Я делаю столько ошибок, наверное, я провалю экзамен, — сказала она без малейшего сожаления в голосе, наоборот, ей было приятно, что у нее есть о чем поговорить. Она по-прежнему не поворачивала головы в мою сторону, разглядывая грязные сугробы на обочине Виктория-стрит. Во время разговора она причмокивала, как будто все время облизывала губы.

— Не провалишь, — сказала я. — У тебя слишком хорошо с математикой. А кем ты будешь, когда вырастешь?

Вопрос, кажется, ее озадачил.

— Буду помогать маме, — ответила она, — и работать в лавке.

— А я буду стюардессой, — сказала я, — только никому ни слова! Об этом почти никто не знает.

— Я никому не скажу, — пообещала Майра, — а ты читаешь комиксы про Стива Кэньона?

— Ага. — Как-то дико было представить, что Майра тоже читает комиксы, да и вообще делает что-то, не соответствующее роли, отведенной ей в классе. — А про Рипа Кирби ты читаешь?

— А про сиротку Энни?

— А про Бетси и мальчишек?

— Ты совсем не ешь попкорн, — сказала я. — Возьми еще, зачерпни побольше.

Майра заглянула в коробку.

— Там сюрприз.

Она вытащила сюрприз из коробки. Это была брошка, крошечная оловянная бабочка, выкрашенная золотой краской и отделанная цветными стеклышками, как настоящая драгоценность. Майра держала ее на бронзовой ладони и несмело улыбалась. Я спросила:

— Нравится?

— Мне нравятся эти синие камешки. Синие камни называются сапфирами.

— Я знаю. Это мой камень по гороскопу. А у тебя какой?

— Не знаю.

— А когда твой день рождения?

— В июле.

— Тогда твой камень — рубин.

— Сапфир мне нравится больше, — сказала Майра. — Мне нравится твой камень. — Она протянула мне брошку.

— Оставь себе, — сказала я. — Было ничье — стало твое.

Майра протягивала мне брошку, словно не понимала, что я имею в виду.

— Было ничье — стало твое, — повторила я.

— Но это же твой попкорн, — сказала она испуганно и серьезно, — ты его купила.

— Ну а ты нашла приз.

— Нет… — сказала Майра.

— Да ну! — сказала я. — Перестань, я тебе ее дарю. — Я взяла у Майры брошку и снова сунула ей в руку.

Это было неожиданностью для нас обеих. Мы посмотрели друг на друга — и я покраснела, а Майра нет. Когда наши руки соприкоснулись, я почувствовала, что дала некий зарок, и запаниковала. «Ну, ничего страшного, — подумала

я, — могу еще как-нибудь выйти пораньше и снова вместе с ней дойти до школы. Могу поболтать с ней на перемене. Почему бы и нет? *Почему бы и нет*?»

Майра положила брошку в карман и сказала:

— Она подойдет к моему выходному платью. Оно как раз голубое.

Я знала, что это за платье. Майра надевала эти свои выходные платья в школу. Даже в разгар зимы среди шерстяных сарафанов и красных юбок в клетку она сиротливо «блистала» в наряде из лазоревой тафты и линялого бирюзового крепа, перешитом из взрослого платья. Громоздкий бант оттягивал мысообразный вырез и бессильно свисал с Майриной тощей грудки.

Хорошо, что она сразу не приколола бабочку. Потому что, если бы ее спросили, откуда эта брошка, а она бы ответила, что бы я сказала на это?

То ли на следующий день, то ли неделю спустя Майра не пришла в школу. Ее часто оставляли дома, чтобы она помогла матери. Но на этот раз она в школу не вернулась. Неделю и две ее место за партой оставалось пустым. А потом пришло время нашему классу переезжать в другой кабинет, и мы собрали учебники Майры и сложили на полку в шкафу.

— Когда она вернется, мы найдем, куда ее посадить, — сказала мисс Дарлинг и с тех пор перестала зачитывать ее фамилию во время переклички.

Джимми Сайла тоже престал ходить в школу, потому что некому было водить его в туалет.

На четвертую или на пятую неделю Майриного отсутствия Глэдис Хили пришла в школу и сказала:

— А знаете, что? Майра Сайла лежит в больнице.

Это была правда. Тетя Глэдис работала медсестрой. Глэдис посреди урока правописания подняла руку и сказала мисс Дарлинг:

— Я думала, что вы, наверное, захотите это узнать.

— Да, конечно, — сказала мисс Дарлинг, — я уже все знаю.

— А что у нее? — спросили мы у Глэдис.

— Немия или что-то такое. Ей делали переливание крови, — сообщила она мисс Дарлинг, — моя тетя — медсестра.

И вот мисс Дарлинг велела нам написать Майре письмо от всего класса: «Дорогая Майра, это письмо от всех нас. Мы надеемся, что ты скоро поправишься и вернешься в школу. До скорой

встречи, твои одноклассники...» И еще мисс Дарлинг сказала:

— Знаете, что я подумала? Мы могли бы двадцатого марта сходить в больницу — проведать Майру и устроить ей день рождения.

Я сказала:

— У нее день рождения в июле.

— Я знаю, — сказала мисс Дарлинг. — Двадцатого июля. Но в этом году он наступит двадцатого марта, потому что она больна.

— Но почему? Ведь ее день рождения в июле!

— Потому что она больна, — повторила мисс Дарлинг предостерегающе резко. — Больничная повариха испечет торт, а вы можете приготовить для нее маленькие подарки — центов по двадцать пять. Это будет между двумя и четырьмя часами — время посещений. И пойдут не все, нас слишком много. Итак, кто хочет пойти, а кто останется и займется внеклассным чтением?

Мы все подняли руки. Мисс Дарлинг достала наши тетради по правописанию и отсчитала первые пятнадцать — получилось двенадцать девочек и три мальчика. Потом мальчики отказались идти, и она отобрала еще трех девочек. Я не знаю, когда точно это произошло, но думаю, что именно в эту минуту праздник по случаю

дня рождения Майры стал престижным мероприятием.

То ли оттого, что тетя Глэдис работала медсестрой, то ли оттого, что лежать в больнице — это очень солидно, а может, просто оттого, что Майра оказалась совершенно, потрясающе свободна от всех правил и условий нашей жизни. Мы стали говорить о ней, как будто она принадлежала нам и ее праздник стал нашей общей целью. С чисто женской основательностью мы обсудили его на большой перемене и решили, что по двадцать пять центов — это слишком мало.

И вот мы принесли свои подарки в больницу. День выдался солнечный, снег таял. Вслед за медсестрой мы гуськом поднялись по лестнице и прошли коридором вдоль приоткрытых дверей, из-за которых слышались приглушенные разговоры. Медсестра и мисс Дарлинг все время предостерегающе шикали, но мы и сами шли на цыпочках, безупречно соблюдая больничный этикет.

В этой маленькой сельской больнице не было детского отделения, да и Майра была уже не совсем ребенком, и ее положили в одну палату с двумя седыми пожилыми тетеньками. Когда мы вошли, медсестра загородила их ширмами.

Майра сидела на постели в неуклюжей жесткой больничной рубахе. Волосы у нее были распущены, длинные пряди рассыпались по плечам, легли на покрывало. Но лицо у нее не изменилось, совсем не изменилось.

Ее предупредили о празднике, мисс Дарлинг предупредила, чтобы сюрприз не был для нее неприятным, но, похоже, она то ли не верила, то ли не понимала, что именно ее ждет. Она наблюдала за нами так же, как всегда наблюдала со школьного крыльца за нашими играми во дворе.

— Ну вот и мы! — сказала мисс Дарлинг. — Вот и мы!

И мы сказали хором:

— С днем рождения, Майра! Привет, Майра, поздравляем с днем рождения!

Майра сказала:

— У меня день рождения в июле. — Голос у нее был еще прозрачнее, чем раньше. Он был плывущий, невыразительный.

— Но это не важно, правда, — сказала мисс Дарлинг, — давай притворимся, что он сегодня! Сколько тебе исполнилось, Майра?

— Одиннадцать, — ответила Майра, — исполнится в июле.

Мы все сняли пальто, и явились ее взору в на-

рядных платьях, и возложили на ее кровать свои подарки в обертках из бумаги пастельных тонов в цветочек. Некоторые мамы вывязали на них сложные бантики из шелковых ленточек, кое-где даже были приклеены маленькие букетики, имитирующие розочки и ландыши.

— С днем рождения, Майра! — говорили мы. — Поздравляем тебя с днем рождения!

Майра не смотрела на нас, она не могла отвести глаз от этих ленточек: розовых, голубых, в серебряную крапинку — и от миниатюрных букетов; она радовалась им так же, как обрадовалась той бабочке. Ее лицо приобрело невинное выражение, на губах заиграла нерешительная, такая сокровенная улыбка.

— Разверни их, Майра, — сказала мисс Дарлинг. — Они все — для тебя.

Майра собрала подарки вокруг себя. Она трогала их и все так же улыбалась, с осторожной догадкой и неожиданной гордостью. Она сказала:

— В субботу я уезжаю в Лондон, в больницу Святого Иосифа.

— Моя мама там лежала, — сказал кто-то, — мы ездили ее навещать. Там одни монашки кругом.

— Сестра моего отца тоже монахиня, — спокой-

но сказала Майра.

Она принялась разворачивать подарки с аккуратностью, которую сама Глэдис не смогла бы превзойти, сворачивая папиросную бумагу и ленточки и извлекая книги, головоломки и наборы для аппликаций, как будто это были призы, которые она выиграла. Мисс Дарлинг сказала, что, наверное, ей следует поблагодарить нас, имя каждого было написано на каждом подарке, чтобы она знала, от кого он, и Майра сказала:

— Спасибо, Мэри-Луиз, спасибо, Кэрол…

Дошла очередь и до моего подарка, и она произнесла:

— Спасибо, Хелен.

Каждый объяснял назначение своего подарка, и были разговоры, и воодушевление, и даже чуточку веселья, и Майра была тут главной, хотя и не веселилась сама. Принесли торт с бело-розовой кремовой надписью «С днем рождения, Майра» и одиннадцатью свечками. Мисс Дарлинг зажгла свечки, и под наше дружное «Загадай желание, Майра, загадай!» Майра задула их. Потом мы все вместе ели торт и клубничное мороженое.

В четыре часа прожужжал сигнал, и санитарка унесла остатки торта и грязные тарелки, мы надели пальто и собрались по домам. Все сказали:

— До свидания, Майра.

А Майра сидела на постели и смотрела, как мы уходим, спина у нее была прямая, она не опиралась на подушки, руки лежали поверх горы подарков. Уже в дверях я услышала, как она меня окликнула:

— Хелен!

Это слышала только пара девочек, мисс Дарлинг не слышала — она ушла вперед. Я вернулась к кровати. Майра сказала:

— У меня слишком много всего. Возьми что-нибудь себе.

— Как это? — сказала я. — Это же твой день рождения. На день рождения всегда дарят кучу всего.

— Ну… ты возьми что-нибудь, — попросила Майра.

Она протянула мне шкатулку, обитую искусственной кожей. В ней лежали зеркальце, расческа, пилочка для ногтей, бесцветная помада и носовой платочек, обшитый по краям золотой тесьмой. Я еще раньше приметила эту шкатулку.

— Возьми, — сказала Майра.

— А тебе она не нужна?

— Бери ее себе.

Она вложила шкатулку мне в руку. Наши паль-

цы снова соприкоснулись.

— Когда я вернусь из Лондона, — сказала Майра, — приходи ко мне поиграть после школы.

— Ладно, — сказала я.

За окном больницы явственно слышались звуки: кто-то играл на улице, — наверное, это наши носились, пуляя друг в друга последние в этом году снежки. И от этих звуков и сама Майра, и ее триумф, ее щедрость и особенно ее будущее, в котором она отвела место и для меня, — все это померкло, погрузилось во тьму. Все эти подарки, ворох оберток и лент, все эти подношения с оттенком вины ушли в тень, перестали быть безгрешными предметами, которых можно касаться, которые можно обменивать и принимать без опаски. Мне больше не хотелось брать эту шкатулку, но я не представляла, как от нее отделаться, что соврать. «Я избавлюсь от нее, — думала я, — и никогда не буду с ней играть, отдам брату — пускай он ее раздербанит».

Появилась медсестра со стаканом шоколадного молока:

— В чем дело, вы не слышали звонка?

Так я была освобождена, я вырвалась на волю благодаря барьерам, сомкнувшимся вокруг Майры, вокруг ее возвышенного, пахнущего эфиром

больничного мира и благодаря предательству в моем сердце.

— Ну, тогда спасибо, — сказала я, — спасибо за шкатулку. Пока, увидимся!

Попрощалась ли со мной Майра? Нет, кажется. Она сидела в этой высокой кровати — изящная бронзовая шея, торчащая из ворота слишком большой больничной сорочки, точеное бронзовое лицо, неуязвимое для предательства, с ее приглашением, уже забытым, наверное, отложенным до лучших времен, — как будто она снова стояла на заднем крылечке, глядя на школьный двор.

Мальчики и девочки

У моего папы была лисья ферма. Да-да, он выращивал чернобурых лисиц в загонах. А осенью и в начале зимы, когда у лис был самый лучший мех, он их забивал, обдирал с них шкурки и продавал «Компании Гудзонова залива» или «Монреальской пушнине». Обе эти компании снабжали нас огромными настенными календарями, которые висели по сторонам от кухонной двери. На холодном голубом фоне небес и черного соснового бора или коварных северных рек плюмажистые храбрецы-первооткрыватели водружали английский или французский флаг, а внушительного вида дикари гнули спины под тяжестью поклажи.

За несколько недель до Рождества отец каждый вечер после ужина работал в подвале. Стены подвала были выбелены известкой, над рабочим столом горела стоваттная лампочка. Мы с братом Лэрдом сидели на верхней ступеньке и смотрели. Отец выворачивал шкурки наизнанку, будто чулок, извлекая оттуда лисьи тельца, неожиданно маленькие, жалкие, — лишенные своей царственной меховой массы, они походили на

крысок. Голые скользкие тельца складывались в мешок и зарывались на свалке. Как-то раз наш наемный работник Генри Бейли стукнул меня этим мешком и пошутил: «Подарочки к Рождеству!» Мама считала, что это глупая шутка. Надо сказать, она вообще не переносила всю эту скорняжную операцию — так назывался весь процесс забоя, обдирания и выделки шкурок — и предпочла бы, чтобы все это происходило не в нашем доме. Из-за запаха. После того как вывернутые наизнанку шкурки натягивались на длинную доску отец аккуратно выскабливал их, удаляя комковатые сеточки кровеносных сосудов и пузырьки жира. Ядреный запах крови и животного сала вместе с первобытным лисьим запахом расползался по всему дому А для меня это был обычный предновогодний запах, как запах апельсинов или сосновых иголок.

У Генри Бейли были больные бронхи. Он закашливался и кашлял так, что его худое лицо багровело, а голубые насмешливые глаза наполнялись слезами, потом он сдвигал печную заслонку и, отойдя подальше, выхаркивал огромный сгусток мокроты — хссс — прямо в огнедышащее нутро печки. Мы обожали его за эти представления и еще за то, что он умел бурчать животом, когда

захочет, и за его смех, который ржаво хрипел и булькал, заставляя ходить ходуном весь разболтанный механизм его грудной клетки. Порой было трудно сказать, над чем он смеется, и всегда существовала вероятность, что он смеется над нами.

Даже из своей комнаты, куда нас отправляли спать, мы чуяли запах шкурок и слышали смех Генри, но эти посланцы из теплого, безопасного, ярко освещенного нижнего мира терялись и таяли в затхлом стылом воздухе второго этажа. Нам было страшно зимними ночами. Мы боялись не того, что *снаружи*, хотя в это время года сугробы толпились вокруг дома, будто стая спящих китов, а ветер всю ночь нападал на стекло, прилетая с покрытых саваном полей и промерзших топей древним ведьмацким хором, полным проклятий и жалоб. Мы боялись того, что *внутри,* боялись комнаты, в которой спали. Верхний этаж в то время еще достраивался. Сквозь одну стену прорастал кирпичный дымоход. В центре пола зияла квадратная дыра, огороженная деревянными перилами, — туда выходила лестница. По ту сторону лестничного колодца хранились всякие неиспользованные и никому не нужные вещи: объемистый рулон линолеума, поставленный

на попа, плетеная детская коляска, подвесная корзинка для папоротника, треснутые фарфоровые кувшины и тазики со сколами, картина, изображающая Балаклавское сражение, — печальное зрелище. Когда Лэрд подрос достаточно, чтобы пугаться, я рассказала ему, что тут повсюду живут летучие мыши и скелеты. Всякий раз, когда из тюрьмы в двадцати милях от нас сбегал заключенный, я воображала, что он каким-то образом забрался к нам через окно и прячется за рулоном линолеума. Но у нас были правила безопасности. При свете нам ничто не угрожало, пока мы не заступим за край вытертого квадратного ковра, который ограничивал пространство нашей спальни. Если же свет выключали, то единственным безопасным местом были наши кровати. Мне приходилось на коленках ползти на самый край кровати, чтобы дотянуться до выключателя.

В темноте мы лежали на своих постелях — на наших утлых спасательных плотах, не сводя глаз с мутной полоски света, пробивающейся сквозь дырку в полу, и пели друг другу песни. Лэрд пел «Бубенцы-бубенцы», он мог распевать ее круглый год, Рождество не Рождество, а я пела «Мальчик Дэнни». Мне нравился звук моего

голоса — хрупкого и молящего, взлетающего во мрак. Глаза привыкали к темноте, и мы уже различали длинные очертания окон в морозных узорах — мрачные и белые. Дойдя до слов: «Вот я умру, умру, а ты придешь…» — я чувствовала, как меня пробирает озноб, но не холодная постель была тому виной — я почти задыхалась от нахлынувшего восторга, и голос мой почти срывался. «И „Аве“ надо мной произнесешь». Что за «Аве» такое? Каждый день я забывала это выяснить.

Лэрд так и засыпал с песней — прямо на полуслове. Я слышала его ровное, бодрое сопение. И вот тогда наступало мое время, только мое, и, наверное, самое лучшее время за весь день, когда я, закутавшись в одеяло поплотнее, рассказывала себе разные истории. Каждую ночь я рассказывала истории о себе самой, только чуточку постарше. Все они происходили в мире, который был как две капли похож на тот, в котором я жила, с той лишь разницей, что в нем всегда находилось место для отчаянной храбрости и самопожертвования, которых недоставало нашему миру. Я спасла людей из разрушенного при бомбежке дома (какая досада, что настоящая война велась так далеко от Джубили). Я застрелила двух бешеных волков, ворвавшихся на школьный двор (а все

учителя в ужасе спрятались за моей спиной). Я вихрем проносилась верхом на горячем скакуне по главной улице Джубили под ликующие крики горожан, благодарных мне за еще не свершенные подвиги (никто никогда не ездил по нашим улицам верхом, кроме Короля Билли во время Парада оранжистов[7]). Мои истории никогда не обходились без скачек и выстрелов, хотя я всего дважды в жизни ездила на лошади — без седла, которого у нас не было, причем во второй раз я свалилась прямо под ноги кобыле, а та безмятежно через меня перешагнула. И я действительно училась стрелять, но вечно промахивалась даже по консервным банкам на заборе.

При жизни лисы обитали в том мире, который обустроил для них мой отец. В мире, окруженном высокой оградой, будто средневековый город, с запиравшимися на ночь воротами. Вдоль улиц этого города выстроились просторные прочные клетки. В каждой имелась настоящая дверь, в которую мог пройти человек, деревянный на-

[7] Примечания: 7

Проводится 12 июля Оранжевым орденом (братство ирландских протестантов, основанное в 1796 г.) в честь победы протестантского короля Великобритании Вильгельма III Оранского над последним католическим королем Великобритании Яковом II в битве при реке Бойн (12 июля 1690 г.).

клонный настил, по которому лисы могли бегать вверх и вниз, и конуры — что-то вроде сундуков с дырками, в которых они спали, прятались от холода зимой и выводили потомство. Прямо у сетки были устроены кормушки и поилки таким образом, чтобы их можно было наполнять и чистить снаружи. Кормушки мастерились из старых консервных банок, а настил и конуры — из всяких обрезков и хлама. Все было выполнено аккуратно и искусно — папа был большой выдумщик и изобретатель, его любимейшей книгой был «Робинзон Крузо». Папа закрепил в тачке большой железный бак, чтобы подвозить к клеткам воду. Летом это была моя обязанность — нужно было дважды в день менять лисам воду. С девяти до десяти утра, а второй раз — после ужина я наполняла бак из колонки и с трудом везла его через скотный двор к лисьему городу. Там я останавливала тачку, наполняла лейку и шла по улицам. Лэрд увязывался за мной со своей наполненной доверху бежево-зеленой детской леечкой. Леечка путалась у него между ногами, из нее плескалась вода, заливая его тряпичные тапочки. А у меня была настоящая лейка — отцовская, тяжелая, я не могла наполнить ее больше чем на три четверти, иначе я бы ее не унесла.

У всех лис были клички, написанные на жестяных табличках рядом с дверями. Лис не называли при рождении, а только после первой линьки, когда их подселяли в стаю. Те, кого назвал отец, носили клички вроде Принц, Боб, Уолли или Бетти. Лис, чьи клички придумала я, звали Звезда, Турок, Морин и Диана. Лэрд назвал одну лисичку Мод, в честь служанки, которая работала у нас, когда он был крошкой, другого лиса он назвал Гарольд, в честь своего одноклассника, а третьего — Мехико, он не сказал, в честь чего.

Обзаведясь именами, лисы вовсе не становились нашими домашними любимцами. Никто, кроме отца, не входил к ним в клетки, а сам отец дважды перенес заражение крови после укусов. Когда я приносила им воду, они шныряли туда-сюда по тропинкам, протоптанным ими вдоль забора, и изредка тявкали, приберегая голоса к ночи, когда их тявканье сливалось в общий неистовый хор, и они всегда наблюдали за мной. Их глаза горели чистым золотом на остреньких злобных мордочках. Они были так прекрасны — утонченные мягкие лапки, пышные аристократические хвосты и блестящий мех, вспыхивающий серебряными искрами на темных спинах, — недаром же чернобурых лис

еще называют серебристо-черными, но особенно красивы были их точеные мордочки и золотистые глаза.

Я не только носила воду, еще я помогала отцу, когда он косил высокую траву, марь и лютики, росшие вдоль загонов. Он срезал их косой, а потом собирал в стожки. Затем он брал вилы и покрывал свежескошенным сеном крыши клеток, чтобы лисам было прохладно в тени и мех не рыжел на солнце. Отец не разговаривал со мной, разве что только по делу. Этим он разительно отличался от мамы, которая, будучи в хорошем настроении, рассказывала мне кучу всего: и как звали ее собаку, когда она была еще маленькой девочкой, и как звали парней, с которыми она встречалась, повзрослев, и какие у нее были платья, которые теперь невесть куда девались. А все мысли и истории отца были, видимо, очень личными, я стеснялась его и никогда не решилась бы задавать ему вопросы. Тем не менее я рьяно трудилась под его началом и очень гордилась этой работой. Однажды к нам приехал продавец кормов, и отец сказал ему, указывая на меня:

— Познакомьтесь с моим новым работником.

Я отвернулась и еще старательнее заскребла граблями, покраснев от удовольствия.

— Да вы шутите! — сказал торговец. — А я думал, что это всего лишь девочка.

В тот год траву скосили, кажется, позднее обычного. Я шла ранним вечером по стерне, багровеющее небо и сгущающаяся тишина предвещали скорую осень. Когда я вывозила тачку за ворота, было уже почти темно. Однажды вечером, как раз в это время, я заметила отца и мать — они стояли на небольшом возвышении у сарая, которое мы называли «мостками», и о чем-то разговаривали. Отец только что вышел из разделочной — на нем все еще был жесткий фартук в пятнах крови, а в руке он держал ведро с кусками мяса.

Было странно увидеть маму возле сарая. Она редко выходила из дому, разве что по делу — белье повесить или картошки накопать в огороде. Как-то нелепо смотрелись здесь ее голые, не тронутые солнцем ноги в узелках вен, ее кухонный передник, все еще мокрый на животе после мытья посуды. На голове у нее был повязан платок, из-под которого выбивались непослушные пряди. Она говорила, что прячет волосы под косынку, потому что с утра до вечера ей некогда заняться собой. И это была правда, у нее действительно не было ни минуты свободной. В эту пору наше крыльцо было уставлено корзинами с персика-

ми и виноградом, купленными в городе, луком, огурцами и помидорами, поспевшими у нас на огороде, — и все это надо было перекрутить в желе, джемы и соусы, залить маринадами и закатать на зиму. В кухне весь день пылала плита, над кипящей кастрюлей стерилизовались банки. Иногда между двумя стульями подвешивался марлевый мешок, через который выдавливалась мякоть черного винограда для желе. Для меня там тоже находилось дело — я снимала шкурку с персиков, ошпаренных кипятком, или резала лук, от которого у меня слезились глаза. Закончив, я старалась поскорее сбежать из дому, с глаз долой, пока мать не придумала для меня еще какую-нибудь работу. Я ненавидела этот жаркий летний кухонный ад, ненавидела зеленые занавески, и липучки от мух, и эту вечную старую клеенку на столе, и волнистое зеркало, и вспухший линолеум. Маме некогда было даже словом со мной перемолвиться, она слишком уставала и не была расположена рассказывать о своем выпускном в школе, пот стекал у нее со лба, и она вечно, до изнеможения беззвучно пересчитывала банки и отмеряла сахар стаканом. Работа по дому казалась мне бесконечной, тоскливой и ужасно гнетущей. Зато помощь отцу во дворе приобрела

для меня ритуальную важность.

Я катила тачку к сараю, где она обычно хранилась, и услышала, как мать сказала отцу:

— Потерпи, вот скоро Лэрд подрастет, и будет у тебя тогда настоящий помощник.

Я не расслышала, что ответил отец. Мне нравилось, как он стоял и слушал мать — вежливо, как если бы он беседовал с каким-то коммивояжером или еще с кем-то чужим, но в то же время ему явно не терпелось вернуться к своей работе. Я считала, что матери тут нечего делать, и хотела, чтобы и он так считал. Что это она такое сказала про Лэрда? Помощник из него никакой! Вот где он сейчас, например? До тошноты раскачивается на качелях, бегает кругами или ловит гусениц. Он все бросает на полпути, мне приходится одной доделывать.

— И тогда она сможет больше помогать мне по дому, — услышала я голос матери.

Мама говорила обо мне каким-то похоронным, скорбным тоном, от которого мне всегда становилось не по себе.

— Не успела я разогнуться, а ее уже и след простыл. Такое впечатление, что у нас вообще нет девочек в семье.

Я вошла в сарай и села на мешок в углу, не

желая, чтобы меня заметили во время разговора. Я чувствовала, что матери доверять не следует. Она была добрее отца, и ее было легче одурачить, но полагаться на нее было нельзя, и истинная подоплека ее слов и поступков была непонятна. Она любила меня и допоздна просиживала, чтобы пошить мне к школе именно такое платье, как я хочу, но все равно она была мне врагом. Мать вечно строила мне козни. Строила и теперь, пытаясь удержать меня подольше дома, хотя я ненавидела это (именно *потому*, что знала, как я это ненавижу), и не дать мне работать с отцом. Я считала, что она поступает так просто из самодурства, чтобы показать свою власть надо мной. Мне не приходило в голову, что ей одиноко или что она ревнует меня к отцу. Взрослым везет, считала я, они не испытывают ни одиночества, ни ревности. Я сидела и монотонно пинала мешок, поднимая пыль, пока мать не ушла.

Впрочем, я надеялась, что отец пропустил ее слова мимо ушей. Разве можно представить, что Лэрд будет выполнять мою работу? Чтобы Лэрд помнил про замок, чистил поилки с помощью листика на палочке или даже возил тачку, ни разу не опрокинув ее? Это говорит только о том, как мало мать разбирается, что к чему на самом

деле.

Да, я забыла рассказать, чем лисиц кормили. Окровавленный фартук отца напомнил мне. Мы кормили их кониной. В то время большинство фермеров все еще держали лошадей, а когда лошади становились слишком старыми, чтобы работать, или ломали ноги, или падали и не могли встать — иногда такое случается, — владельцы звали моего отца, и они с Генри приезжали в грузовике на ферму. Обычно они забивали и разделывали лошадь прямо там, заплатив фермеру от пяти до двенадцати долларов. Если же мяса у них было слишком много, то они привозили лошадь живьем и держали ее в конюшне несколько дней или недель, пока не возникала необходимость в мясе. После войны фермеры стали покупать тракторы и постепенно избавлялись от лошадей, так что порой нам доставались хорошие здоровые лошади, которые просто стали не нужны своим хозяевам. Если это случалось зимой, мы могли держать лошадь в конюшне до весны, потому что у нас было вдоволь сена, а на улице лежал глубокий снег, и снегоочиститель не всегда добирался до нашей дороги, так что в город удобнее было ездить на санях.

В зиму моего одиннадцатилетия в нашей

конюшне жили две лошади. Мы не знали их прежних имен, поэтому звали их Мак и Флора. Мак был дряхлой рабочей конягой вороной масти, закопченной и безразличной. А гнедая Флора раньше возила повозки. Мы запрягали их по очереди в одни и те же сани. Мак еле плелся, и управлять им было легко. Флора же то и дело отчаянно нервничала, она шарахалась от автомобилей и даже от лошадей, но нам нравилась ее скорость, ее величественный аллюр, ее такой галантный и самозабвенный вид. По субботам мы шли в конюшню, и, едва открывали дверь в ее уютную, пахнущую лошадями темноту, Флора вытягивала шею, пучила глаза и у нее немедленно начинался нервный припадок. Заходить к Флоре в стойло было небезопасно, она могла лягнуть.

Той зимой я наслушалась еще много всего на тему памятного разговора матери с отцом у сарая. Я больше не чувствовала себя в безопасности. Похоже, что в сознании окружающих меня людей неизменной красной нитью проходила одна и та же мысль. Раньше слово «девочка» казалось мне таким же невинным и необременительным, как и слово «дитя», теперь же оказалось, что это не так. Я-то полагала, что уже и так была девочкой,

а оказывается, девочкой мне еще только предстояло стать. Это определение всегда произносилось с нажимом, несло на себе печать упрека и разочарования. И еще это была насмешка надо мной. Как-то мы в очередной раз возились с Лэрдом, и впервые мне пришлось применить всю свою силу. Тем не менее он схватил меня за руку и ущипнул так, что мне стало по-настоящему больно. Генри, глядя на нас, засмеялся и сказал:

— О, я смотрю, Лэрд скоро покажет тебе?

Да, Лэрд рос прямо на глазах. Ну, так и я тоже росла.

От бабушки, приехавшей к нам погостить на несколько недель, я услышала кое-что другое: «Девочки не хлопают дверью». «Девочки держат коленки вместе, когда сидят». И хуже всего, когда в ответ на мои вопросы я слышала: «Девочек это не касается». Я продолжала изо всех сил громыхать дверью и сидеть враскоряку при любой возможности, считая, что таким образом сохраняю свою свободу.

С приходом весны лошадей стали выпускать во двор. Мак стоял у сарая и пытался почесать об угол шею и ляжки, а Флора трусила туда-сюда и становилась на дыбы у ограды, цокая копытами по перекладинам. Сугробы стремительно

исчезали, обнажая утоптанные серо-коричневые проталины, знакомые ямки и холмики, такие обыкновенные и пустые после фантастических зимних пейзажей. Всюду витало чувство величайшей раскованности, свободы. Мы ходили на улицу в одних галошах поверх обычной обуви, ногам было легко до одури. В одну из суббот, придя в конюшню, мы увидели, что все двери распахнуты настежь, а внутри необычайно солнечно и свежо. Генри уже был там и просто слонялся без дела, разглядывая свою коллекцию настенных календарей, развешенных позади стойла, в том уголке конюшни, куда мать, наверное, никогда не заглядывала.

— Идите попрощайтесь со своим старым другом Маком, — сказал Генри. — На-ка, угости его овсом.

Он насыпал немного овса в сложенные лодочкой ладони Лэрда, и тот пошел кормить Мака. Зубы у коня были совсем плохи. Он жевал очень медленно, терпеливо мусолил овес во рту, пытаясь перемолоть зерна своими пеньками.

— Бедолага Мак, — печально произнес Генри. — Если у лошади нет зубов, то и самой лошади больше нет. Такова жизнь.

— Вы его сегодня застрелите? — спросила я.

Мак и Флора так долго пробыли у нас в конюшне, я почти забыла, что их когда-нибудь должны убить.

Генри не ответил. Вместо этого он запел дребезжащим, притворно-скорбным тенорком: «Больше нету работы для бедного дядюшки Неда, он ушел туда, где доброму негру и место». Широкий черный язык Мака усердно трудился над Лэрдовой ладошкой. Недослушав песню, я вышла и села на деревянный помост.

Я никогда не видела, как убивают лошадей, но знала, где это происходит. Прошлым летом мы с Лэрдом наткнулись на лошадиные внутренности до того, как их закопали. Мы решили, что это большая черная змея свернулась и нежится на солнце. Это было где-то на том поле, которое начинается прямо за сараем. Если мы спрячемся в сарае на сеновале и найдем в стене какую-то щелку или глазок от сучка, подумала я, то сможем подсмотреть, как это будет. Не то чтобы я очень хотела, но если уж что-то действительно совершается, то лучше видеть это и знать.

Отец вышел из дому, неся ружье.

— Что вы здесь делаете? — спросил он.

— Ничего.

— Идите поиграйте возле дома.

Он велел Лэрду уйти подальше от конюшни. Я спросила братишку:

— Хочешь увидеть, как они застрелят Мака? — И, не дожидаясь ответа, потащила его ко входу в сарай, тихонько отворила дверь, и мы вошли внутрь. — Только тихо, а то они нас услышат, — прошептала я.

До нас доносилось, как отец и Генри разговаривают в конюшне, потом послышалась тяжелая шаркающая поступь Мака, которого выводили из стойла.

На сеновале было холодно и темно. Тонкие солнечные лучи скрещивались, сквозя из всех щелок. Стог сена был невысок. Ногам было скользко в этой шаткой стране бугров и ямок. Приблизительно на уровне четырех футов стены опоясывала балка. Мы подгребли побольше сена в один угол, я подсадила Лэрда и подтянулась сама. Балка была не слишком широка, мы ползли по ней, распластав руки на стене сарая. Здесь было полно щелей, и я нашла такую, которая давала мне необходимый ракурс — угол двора и кусок поля. Лэрд не нашел подходящего отверстия и принялся канючить.

Я показала ему широкую щель на стыке двух досок.

— Стой тихо и жди. А то они тебя услышат и нам влетит.

В поле моего зрения появился отец с ружьем. Генри вел Мака под уздцы. Он бросил повод, вынул папиросную бумагу и табак, свернул папироску себе и отцу. Мак тем временем принюхивался к пожухлой прошлогодней траве под забором. Затем отец отворил ворота, и они вывели Мака в поле. Генри вел Мака в сторону от тропинки, к участку голой земли, и они с отцом негромко беседовали о чем-то, мы не могли разобрать ни слова. Мак снова безуспешно принялся искать губами свежую травку Отец отошел на некоторое расстояние, не сбиваясь с курса, и остановился. Генри тоже отошел от Мака, но только в сторону, некрепко держа в руке провисший повод. Отец прицелился, а Мак поднял голову и посмотрел, будто вдруг заметил что-то, и тогда отец выстрелил.

Мак умер не сразу — он постоял, затем пошатнулся и рухнул сперва на бок, потом перекатился на спину, его копыта несколько секунд забавно брыкались в воздухе. Генри засмеялся, как будто Мак нарочно для него отколол какую-то шутку. Лэрд, который длинно и хрипло всхлипнул от неожиданности, когда раздался выстрел, громко

сказал:

— Он не умер!

Мне показалось, что он прав. Но вот ноги Мака перестали дергаться, и он снова перевернулся на бок, мускулы его содрогнулись и замерли. Мужчины деловито подошли к нему, они наклонились и осмотрели лоб Мака, куда угодила пуля, и тогда я увидела его кровь на побуревшей траве.

— Сейчас они его просто освежуют и разрежут на куски, — сказала я. — Пошли.

Ноги у меня слегка дрожали, и я с облегчением спрыгнула на сено.

— Теперь ты видел, как застрелили лошадь, — сказала я поздравительным тоном, будто сама уже сто раз видела это. — Идем глянем, вдруг какая-нибудь чердачная кошка вывела на сене котяток?

Лэрд спрыгнул. Он снова казался маленьким и послушным. Внезапно я вспомнила, как, когда он был совсем крошкой, я завела его в сарай и подговорила влезть по лестнице на самый верх. Тогда тоже была весна, и сена было уже мало. Я сделала это, потому что жаждала острых ощущений, мне хотелось, чтобы случилось такое, о чем можно было бы рассказать. На братике было чуть мешковатое пальтишко в коричневую и

белую клетку перешитое из моего. Он послушно вскарабкался наверх, как я ему велела, и уселся на верхней перекладине. Далеко под ним с одной стороны была копешка сена, а с другой — голый пол сарая с какими-то старыми ржавыми железками. А потом я побежала к отцу, крича:

— А Лэрд в сарае залез по лестнице на самый верх!

Прибежал отец, прибежала мать, отец влез по лестнице, успокаивая Лэрда тихим голосом, взял его в охапку и спустил вниз, и тогда мама прислонилась к лестнице и заплакала.

— Почему ты не следила за ним? — спросили они меня, но правды так никто никогда и не узнал.

Лэрд был слишком мал, чтобы рассказать. Но всякий раз, когда я видела пальто в бело-коричневую клетку — на вешалке в шкафу или на дне мешка с тряпьем, где оно закончило свои дни, — я чувствовала тяжесть в животе и грусть неизбывного раскаяния.

Я смотрела на Лэрда, который даже не помнил этого, и мне не нравилось выражение его худенького и по-зимнему бледного лица. В нем не было ни страха, ни огорчения, а лишь отстраненность и сосредоточенность.

— Послушай, — сказала я необычайно радостно и дружески, — ты ведь никому не расскажешь об этом, правда?

— Нет, — сказал он рассеянно.

— Обещаешь?

— Обещаю, — сказал он.

Я пошарила у него за спиной, проверяя, не скрестил ли он пальцы, по обыкновению. Правда, даже теперь ему может присниться кошмар, и таким образом все выплывет наружу. Я решила как следует потрудиться над тем, чтоб отвлечь от увиденного его сознание, в котором, как мне казалось, не может удержаться сразу много воспоминаний одновременно. У меня было в копилке немного денег, и в тот же день мы побывали в Джубили на фильме с Джуди Кановой, и оба хохотали там от души. После этого я решила, что все уладилось.

Через две недели я узнала, что они собираются застрелить и Флору. Я поняла это, когда в разговоре с отцом мать спросила, как у нас дела с сеном, а отец ответил:

— Послезавтра у нас останется только корова, а на будущей неделе мы сможем выводить ее на пастбище.

Вот так я догадалась, что пришел черед Флоры.

На этот раз я не собиралась смотреть. Мне хватило и одного раза. Я не думала об этом, но иногда, когда я была занята чем-то в школе или стояла перед зеркалом, причесываясь и раздумывая, буду ли я хорошенькой, когда вырасту, вся сцена мгновенно возникала у меня перед глазами: я видела, как просто и по-деловому отец поднимает ружье, и слышала смех Генри, когда Мак взбрыкнул копытами в воздухе. Я не чувствовала ни великого ужаса, ни протеста, которые наверняка ощутил бы городской ребенок, я слишком привыкла видеть смерть животных — это была неотъемлемая и необходимая часть нашей деревенской жизни. Но в своем отношении к отцу и его работе я чувствовала уколы стыда, неведомую прежде настороженность и отторжение.

День выдался погожий, и мы гуляли по двору, собирая ветки, которые обломали зимние бураны. Во-первых, нам велели их собрать, а во-вторых, мы строили из этих веток вигвам. Мы слышали тихое ржание Флоры, потом послышались голос отца и вскрик Генри, и мы бросились на задний двор, чтобы посмотреть, что случилось.

Двери конюшни стояли нараспашку. Генри как раз выводил Флору, когда она вырвалась у него из рук. Она скакала, свободная, по двору

из конца в конец. Мы вскарабкались на забор. Было восхитительно смотреть на нее — летящую, ржущую, вскидывающую задние ноги, гарцующую, словно она горячий скакун из вестерна, а не просто старая лошадка, всю жизнь возившая повозки, старая гнедая кобыла. Отец и Генри бегали за ней, пытаясь ухватить волочащийся повод. Они попробовали зажать ее в угол, и им почти удалось это, когда она вдруг прорвалась между ними, дико сверкая глазами, и скрылась за углом сарая. Мы слышали, как загремели доски, когда она перемахнула через забор, и Генри закричал:

— Ушла в поле!

Значит, она вырвалась на простор уходящего вдаль Г-образного поля, которое прилегало к дому Если она поскачет напрямик, то окажется на дороге — ворота там были нараспашку, потому что утром на поле заехал грузовик. Отец крикнул мне, поскольку я была по ту сторону забора:

— Беги и закрой ворота!

Бегала я очень быстро. Я опрометью бросилась через сад, мимо качелей, висящих между деревьями, перепрыгнула через канаву и выскочила на дорогу. Вот они — открытые ворота. Флора еще не добежала сюда, я не видела ее и на дороге, — наверное, она ускакала на другой конец поля.

Ворота были тяжелые. Я приподняла створку и потащила ее волоком по гравию. Я уже была на полпути, когда появилась Флора, галопом несясь прямо на меня. Самое время было накинуть цепь. И тут подоспел Лэрд, он карабкался через канаву, чтобы помочь мне.

Вместо того чтобы закрыть ворота, я распахнула их настежь. Я не придумала это заранее, я просто не могла сделать иначе. Флора галопом пронеслась мимо меня, не замедляя хода, а Лэрд подпрыгивал на месте и кричал мне, даже когда было уже слишком поздно:

— Закрывай, закрывай!

Отец и Генри прибежали минутой позже и не видели, что я натворила, они видели только, что Флора ускакала по дороге, ведущей в город. Они решили, что я просто не успела, не добежала вовремя. Не тратя времени на расспросы, они вернулись в сарай, захватили ружье и ножи, побросали все это в грузовик. Грузовик развернулся и, подпрыгивая на ухабах, поехал через поле к нам. Лэрд закричал:

— И меня! И меня возьмите!

Генри остановил машину и подобрал его в кабину. Я закрыла за ними ворота.

Я думала, что Лэрд все расскажет, и думала, что

мне за это будет… Никогда прежде я не позволяла себе ослушаться отца, да и сейчас я не понимала, зачем это сделала. На самом деле ведь Флоре было не сбежать. Они догонят ее на грузовике. Или, если им не удастся поймать ее сегодня утром, кто-то да увидит ее и позвонит нам ближе к вечеру или завтра. Нигде в округе не было диких степей, куда она могла бы скрыться, — сплошные фермы. А самое главное, отец за нее заплатил, нам нужно мясо, чтобы кормить лис, а лисы нужны нам, чтобы прокормить себя. А я только добавила работы отцу, который тяжко трудился ради этого. И когда обнаружится, что я его предала, он перестанет доверять мне, он поймет, что я не всецело на его стороне. Я приняла сторону Флоры, и теперь я — никчемное, бесполезное существо, бесполезное даже для нее. И все равно я не жалела о том, что сделала. В тот миг, когда она скакала прямо на меня, единственное, что я могла сделать, — открыть ворота.

Я вернулась домой, и мама спросила меня:

— Что там за переполох?

Я рассказала ей, что Флора разнесла забор и ускакала.

— Бедный ваш отец, — сказала она. — Теперь ему придется гоняться за ней по всей округе. Ну

теперь обедать сядем не раньше часа.

Мама разложила гладильную доску. Мне хотелось ей все рассказать, но только после того, как все хорошенько обдумаю, поэтому я поднялась наверх и села на кровать.

С недавних пор я пыталась сделать свою часть комнаты более утонченной, разостлав на кровати старую тюлевую занавеску и украсив туалетный столик остатками от кретоновой юбки. Я задумала возвести что-то наподобие ширмы между своей кроватью и кроватью Лэрда, чтобы отделиться от него. При свете дня тюлевая занавеска оказалась просто пыльной тряпкой. Мы больше не пели песен по ночам. Однажды, когда я пела, Лэрд заявил:

— Ты поешь глупо.

А я продолжила ему назло. Но на следующий вечер я перестала петь. Да это уже было и не так нужно — мы перестали бояться по ночам. Мы знали, что вокруг нас просто старая рухлядь, устаревшая мешанина и путаница. Беспорядок. И правила наши устарели. Я по-прежнему бодрствовала после того, как Лэрд засыпал, и по-прежнему рассказывала себе истории, но даже истории эти стали немного другими, что-то в них таинственным образом переменилось. Они

начинались, как и раньше, с некоего красочного опасного происшествия — пожара или нападения диких зверей, и какое-то время я спасала людей, а потом все изменилось, и уже кто-то спасал меня. Это мог быть мальчик из моего класса или даже сам мистер Кэмпбелл, наш учитель, который щекотал девчонок под мышками. С этого момента большой кусок рассказа посвящался тому, как я выгляжу, — длине волос, фасону платья; к тому времени, как эти детали прорабатывались мной, настоящий интерес к истории угасал.

Грузовик вернулся после часа дня. Над кузовом был натянут брезент, и это значило, что под ним лежит мясо. Матери пришлось в который раз разогревать обед. Отец и Генри в сарае сменили окровавленную одежду на обычную рабочую, вымыли над раковиной руки, лицо и шею, смочили вихры водой и причесались. Лэрд поднял руку и показал потеки крови на ней.

— Мы застрелили старую Флору, — сказал он, — и разрезали ее на пятьдесят кусков.

— Нет уж, и слышать об этом не хочу, — сказала мама, — и в таком виде к столу не подходи.

Отец заставил его пойти и смыть кровь.

Мы сели за стол, отец прочитал молитву, а Генри, как обычно, прилепил свою жвачку к

рукоятке вилки, потом он ее снимал, и мы вместе любовались отпечатком. Мы стали передавать друг другу плошки с дымящимися перетомившимися овощами. Лэрд окинул взором стол и произнес гордо и явственно:

— И все-таки это она виновата в том, что Флора ускакала.

— Почему? — спросил отец.

— Она могла закрыть ворота, но не закрыла. Она их, наоборот, открыла и дала Флоре убежать.

— Это правда? — спросил меня отец.

Все смотрели на меня. Я кивнула, с трудом проглотив кусок. К стыду моему, слезы закапали у меня из глаз.

Отец хмыкнул от возмущения:

— И зачем ты это сделала?

Я не ответила. Я положила вилку и, по-прежнему не поднимая глаз, просто ждала, когда меня выгонят из-за стола.

Но меня не выгнали. Какое-то время все молчали, а потом Лэрд сказал как ни в чем не бывало:

— Она ревет.

— Ничего, — ответил папа.

Примирительно и даже весело он произнес слова, которые оправдывали меня и освобождали навечно:

— Она всего лишь девочка.

Я не возражала даже в глубине души. Наверное, потому, что это правда.

Открытка

Вчера пополудни, да, вчера я шла по улице на почту, думая о том, до чего же обрыдли мне эти снега, эти ангины и вообще все это тягомотное охвостье зимы, и тоскуя о том, что не могу укатить во Флориду, как Клэр. Была среда, моя вторая смена. Я работаю в «Универмаге Кинга», который, вопреки громкой вывеске, никакой не универмаг, а всего-навсего магазин готовой одежды и галантерейных товаров. В прежние времена здесь торговали еще и бакалеей, но я это помню смутно. Мамуля тогда брала меня с собой и сажала на высокий стул, а старый мистер Кинг насыпал мне в ладошку изюма, приговаривая: «Я угощаю изюмом только красивых девочек». Когда он, старый мистер Кинг, умер, бакалею убрали, и это уже даже не универмаг Кинга, он принадлежит какому-то типу по имени Крюберг. Его тут никто в глаза не видел, он просто прислал вместо себя мистера Хоуиса, чтобы тот вел дела. Я управляла отделом детской одежды на втором этаже, а под Рождество устраивала кукольный городок. Я проработала здесь четырнадцать лет,

и мистер Хоупе никогда не придирался ко мне, зная, что я могу и взбрыкнуть.

Была среда, и калитка почты была закрыта, но у меня был свой ключ. Я открыла наш ящик и вынула оттуда газету из Джубили, которую выписывала мама, телефонный счет и открытку, которую я чуть не упустила. Сперва я посмотрела на картинку — там были пальмы, жаркое синее небо, фасад какого-то мотеля с вывеской в виде огромной, ладно скроенной белокурой бестии, которая, наверное, по ночам загоралась неоновыми огнями. «Переночуй у меня!» — лаконично зазывала бестия — эти слова были заключены в нарисованном пузыре, вылетающем у нее изо рта. На обороте открытки я прочитала: «Я у нее не ночевал, слишком уж дорого. Погодка лучше не бывает — градусов двадцать пять. Как вы там зимуете в Джубили? Надеюсь, неплохо. Веди там себя хорошо. Клэр». На штемпеле стояла дата — десять дней назад. Да, иногда открытки идут довольно медленно, но спорю на что хотите, она несколько дней провалялась у него в кармане, прежде чем он вспомнил, что надо ее отправить. Это была единственная весточка от него с тех пор, как он три недели назад уехал во Флориду, и уже в пятницу или субботу я надеялась его увидеть.

Каждую зиму он совершал подобное путешествие вместе со своей сестрой Хрюшкой и ее мужем Гарольдом, которые жили в Виндзоре. У меня сложилось впечатление, что я им не нравлюсь, но Клэр уверял, что я просто мнительная. Разговаривая с Хрюшкой, я вечно делаю какие-то ошибки — например, скажу: «это ко мне непринемимо», хотя знаю, что надо говорить «неприменимо». Она никогда не подавала виду, но я потом вспоминала и краснела. Я-то понимала, что так мне и надо, нечего выпендриваться и говорить так, как я никогда обычно не разговаривала в Джубили, пытаясь произвести на нее впечатление, — ведь она была из Маккуарри, и это после всех моих нотаций мамуле о том, что *мы* ничуть не хуже *их*.

Напиши мне, просила я Клэра, всякий раз, когда он уезжал, а он мне: о чем ты хочешь, чтобы я тебе написал? И я говорила, чтобы написал мне о том, где бывал, кого видел, — мне все интересно, ведь сама я ради удовольствия не бывала нигде дальше Буффало (наш с мамулей вояж на поезде к родственникам в Виннипег не считается). Но Клэр обещал: я все тебе расскажу, когда вернусь. И никогда не рассказывал, кстати. При встрече я снова просила его рассказать все о путешествии, а он снова спрашивал: ну о чем ты хочешь, чтобы

я тебе рассказал? Я только сильнее раздражалась, потому что откуда я-то знаю о чем?

Я заметила, что мамуля поджидает меня, выглядывая в маленькое окошечко в двери. Она отворила дверь, как только я свернула на нашу дорожку, и предупредила:

— Осторожно, тут скользко. Молочник сегодня утром чуть не расшибся.

— Порой мне кажется, что я бы не прочь сломать ногу, — ответила я, а она сказала:

— Не смей *так* говорить! Еще накличешь на свою голову.

— Клэр прислал тебе открытку, — сказала я.

— О, неужели? — Она перевернула ее и сказала: — Адресована тебе, я так и думала. — Тут она усмехнулась. — Картиночка так себе, но, может, там был не слишком большой выбор?

Пожилые дамы, наверное, питали слабость к Клэру с тех самых пор, как он начал ходить. Для них он так и остался милым щекастиком, таким учтивым и совершенно не заносчивым, несмотря на принадлежность к роду Маккуарри; он умел поддразнивать и подбадривать их так, что они розовели. У них, у мамули и Клэра, был, наверно, целый десяток игр, в которые меня не принимали. Ну, скажем, стучит он в дверь и говорит

что-то вроде:

— Добрый вечер, мэм, я только хотел спросить, не заинтересует ли вас программа совершенствования тела, которую я продаю, чтобы оплатить учебу в колледже?

А мамуля подыгрывает ему и делает суровое лицо:

— Молодой человек, неужели я выгляжу так, будто нуждаюсь в совершенствовании тела?

А то еще приходит он со скорбной миной:

— Мэм, я здесь, потому что беспокоюсь о вашей душе.

А мама громко хохочет:

— О своей бы побеспокоился! — И потчует его куриными пельменями и лимонным пирогом с меренгами, он все это обожает.

За столом он рассказывает ей такие анекдоты, которые, как я думала, она никогда не стала бы слушать.

— Слыхали, как один старый джентльмен, женившись на молоденькой, пошел к врачу? Доктор, говорит он, у меня есть одна маленькая проблемка…

— Довольно, — говорит мамуля, но выслушивает анекдот до конца. — Ты смущаешь Хелен-Луизу.

От этой приписки «Луиза» на конце моего имени я избавилась повсюду, кроме дома. Клэр подхватил ее от мамули, и я сказала ему, что мне она не нравится, но он не унимался. Порой я чувствовала себя их малым дитятей. Я сидела между ними, а они пикировались и наслаждались едой, не забывая твердить мне, что я много курю и что, если я не перестану сутулиться, у меня будет горб. Клэр был — и остался — на двенадцать лет старше меня и, сколько я его помню, всегда был взрослым мужчиной.

Я помню, как встречала его на улице, и он тогда казался мне старым, по крайней мере таким же старым, как все остальные взрослые. Он из тех, кто в юности выглядит старше своих лет, а в старости, наоборот, моложе. Он вечно ошивался в «Квинс-отеле». Как и прочим Маккуарри, ему не нужно было трудиться в поте лица. Сидел себе в маленькой конторе и занимался непыльной работенкой — как нотариус, страховой агент или агент по недвижимости. Он и сейчас все на том же месте, фасадное окно там вечно мутное и пыльное, а в задней комнате зимой и летом горит свет. Там сидит мисс Мейтленд, старушка лет под восемьдесят, и печатает все, что он скажет. Если он не рассиживал в «Квинс-отеле», то

проводил время с двумя-тремя друзьями, сидя вокруг обогревателя за карточным столиком, за нешумной выпивкой, а чаще всего — просто за беседой. Существует определенная категория мужчин, которых в Джубили, да и, полагаю, в прочих маленьких городках тоже, можно назвать «публичными людьми». Я не имею в виду, что они публичные *персоны*, достаточно влиятельные, чтобы избираться в парламент или даже на пост мэра (впрочем, если бы Клэр захотел стать серьезным, то он смог бы это сделать), я имею в виду просто людей, которые часто бывают на публике — вокруг да около главной улицы, людей, которых ты узнаешь в лицо. Клэр с этими своими друзьями был как раз из таких.

— Так он там со своей сестрой? — поинтересовалась мамуля, как будто я ей не говорила уже сто раз. Множество наших с мамулей разговоров повторяются. — Как там они ее называют?

— Хрюшка.

— Да, я, помнится, сразу подумала — самое то для взрослой женщины. Я помню, как ее крестили и дали ей имя Изабель. Задолго до того, как я вышла замуж, — я тогда еще пела в церковном хоре. На нее надели такую длинную, болтающуюся крестильную хламиду, ну, сама знаешь.

Мамуля неровно дышала к Клэру, но это не касалось остального семейства Маккуарри. Она считала, что чванство у них в крови. Помню, как год или два назад мы проходили мимо их особняка, и она что-то говорила там насчет не ходить по газонам *Имения*, а я ей ответила:

— Мамуля, через несколько лет я поселюсь здесь, это будет мой дом, поэтому не стоит говорить об Имении таким тоном.

Мы с мамой оглядели этот дом с темно-зелеными навесами и стилизованными староанглийскими вензелями «М», со всеми его верандами и витражными окнами в торцевой стене, напоминавшими церковные. Дом не подавал признаков жизни, но наверху лежала, да и сейчас лежит старая миссис Маккуарри — одна сторона тела у нее парализована, и она не может говорить. Днем за ней ухаживает Уилла Монтгомери, а Клэр — вечером. Старушку тревожат чужие голоса в доме, поэтому всякий раз, когда Клэр приводил меня к себе, мы разговаривали исключительно шепотом, чтобы она не могла меня услышать и впасть от этого в какой-нибудь паралитический припадок. Мама пристально посмотрела на меня и сказала:

— Забавно, что я не могу представить тебя с

фамилией Маккуарри.

— Я думала, Клэр тебе нравится.

— Ну, разумеется, нравится, но я всегда думала о нем как о парне, с которым ты встречаешься по субботам, которого приводишь на обед в воскресенье, и никогда не думала, что вы с ним поженитесь.

— Подожди, увидишь, что будет, когда старая леди отдаст концы.

— Он так тебе и сказал?

— Это очевидно.

— Могу себе представить, — сказала мамуля.

— Не стоит обращаться со мной так, будто он оказывает мне милость, потому что, уверяю тебя, очень многие люди сочли бы, что все наоборот.

— Мне что, уже нельзя и рот открыть, чтобы ты не обиделась? — мягко спросила мама.

Раньше мы с Клэром прокрадывались в субботу вечером через боковую дверь и тихо-тихо, как два школьника, улизнувшие с уроков, готовили себе кофе и что-нибудь поесть в старомодной кухне с высокими потолками. Потом на цыпочках пробирались по задней лестнице в комнату Клэра и включали телевизор, чтобы она думала, будто он один. Если она его звала, я оставалась лежать одна в большой постели и смотрела передачу или

разглядывала старые фотографии на стене — он в воротах хоккейной команды в старших классах, Хрюшка в выпускном платье, он с Хрюшкой и неизвестными мне друзьями на каникулах. Если она задерживала его надолго и мне становилось скучно, я под прикрытием телевизора спускалась по лестнице и снова пила кофе (я никогда не пила ничего покрепче, оставляя это Клэру). При свете из кухни я шла в столовую, выдвигала там ящики и разглядывала старухины скатерти, открывала дверцы буфета и ящик со столовым серебром, чувствуя себя воришкой. Но я все думала, почему я не должна получать удовольствие от этого и от имени Маккуарри, раз мне все равно не придется делать ничего такого, что я и так не делаю. Клэр сказал: «Выходи за меня» — вскоре после того, как мы начали встречаться, и я ответила: «Не приставай ко мне, я не хочу думать о замужестве!» И он отстал. Когда я сама несколько лет спустя завела об этом разговор, ему, кажется, было приятно. Он сказал: «Ну, мало кому из старых зубров вроде меня посчастливится услышать от такой хорошенькой девушки, что она хочет за него замуж». Я думала, погодите, вот выйду замуж, явлюсь в «Универмаг Кинга», так Хоуне у меня с ног собьется, старый мерин. Хотелось бы устроить ему

веселую жизнь, но я сдержусь только из чувства приличия.

— Надо убрать эту открытку в шкатулку, — сказала я мамуле. — И не могу придумать для нас ничего получше на это время, чем пойти и вздремнуть.

Я пошла наверх и надела пеньюар (с китайской вышивкой — подарок Клэра). Намазав лицо кремом, я достала шкатулку, в которой хранятся открытки, письма и прочие памятки, и положила открытку вместе с прочими флоридскими весточками прежних лет и с теми, что из Банфа и Джаспера, Большого каньона и парка Иеллоустон. А потом, просто чтобы убить время, стала рассматривать свои школьные фотографии и табели, программку музыкального спектакля «Корабль ее величества „Фартук“»[8], который мы ставили в старших классах, и я там играла героиню, как ее там, — в общем, дочь капитана. Я помню, Клэр встретил меня на улице и наговорил мне приятностей, как я хорошо пела и как прекрасно выглядела, а я чуточку с ним пофлиртовала, просто потому, что он казался мне

[8] Примечания: 8

Комическая опера Уильяма Гильберта и Артура Салливана, впервые поставленная в 1878 г.

старым и неопасным, а меня хлебом не корми — дай пофлиртовать, и была так довольна собой. Интересно, удивилась бы я, если бы узнала тогда, что случится потом? Я тогда еще даже не встретила Теда Форджи.

Я узнала его письмо с первого взгляда. С тех пор я его не перечитывала ни разу но сейчас просто из любопытства развернула и принялась читать.

Обычно я терпеть не могу печатать письма на машинке — печатные буквы лишены человеческого тепла, но сегодня я так измотан всеми этими непривычными тяготами, что, надеюсь, ты простишь меня.

Печатные буквы или не печатные, но, едва взглянув на это письмо, я всегда ощущала такой прилив любви, если надо назвать как-то это чувство, прилив такой силы, что он сбивал меня с ног, расплющивал в лепешку. Тед Форджи проработал диктором на радиостанции Джубили около полугода — как раз в то время я заканчивала школу. Мамуля говорила, что он слишком стар для меня, — чего она никогда не говорила о Клэре, — а Теду было-то всего двадцать четыре. Он два года провел в санатории для туберкулезников, болезнь состарила его. Мы часто гуляли на Салливен-Хилл, и он рассказывал мне, что

жил, глядя смерти в лицо, и понял, как дорога ему близость человеческого существа, но ему выпало одиночество. Он говорил, что хотел бы только уткнуться мне в колени и плакать, но все время, пока он *мог* что-то делать, он делал совсем другое. Когда он уехал, я просто превратилась в лунатика. Я просыпалась только под вечер, когда приходила на почту, и коленки у меня дрожали, пока я открывала ящик в надежде найти там письмо. Но после этого письма больше писем не было. Никогда. Меня тревожили те места, где мы с ним бывали. Салливен-Хилл, радиостанция, кофейня в «Квинс-отеле». Не знаю, сколько часов я просидела в этой кофейне, мысленно вновь повторяя каждый наш разговор, представляя себе каждое выражение его лица, не понимая еще, что никакие мои желания не в силах заставить его снова войти в эту дверь. Здесь я подружилась с Клэром. Он сказал, что у меня такой вид, будто меня надо развеселить, и рассказал мне несколько своих историй. Я никогда не посвящала его в свои беды, но, когда мы начали встречаться, я объяснила ему, что дружба — это все, что я могу предложить. Он сказал, что благодарен мне и постарается потерпеть. И он старался.

Я дочитала письмо до конца и подумала, уже не

в первый раз подумала, что, прочтя это письмо внимательно, любой дурак понял бы, что другого письма никогда не будет.

Я хочу, чтобы ты знала, как я благодарен тебе за твою нежность и понимание. «Нежность» — это единственное слово, которое застряло тогда у меня в памяти, вселяя надежду. Я подумала, что собиралась уничтожить это письмо, как только мы с Клэром поженимся. Так почему бы не сделать это сейчас? Я разорвала листок надвое, потом еще пополам, и это было так же легко, как рвать тетрадки после школы. Затем, чтобы не выслушивать от мамули насчет содержимого моей корзины для бумаг, я смяла обрывки в комок и бросила в сумочку. Дело было сделано, я легла на кровать и стала думать о всяком разном. Например, не будь я в ступоре из-за Теда Форджи, смогла бы я иначе взглянуть на Клэра? Нет, скорее всего. Не будь я в таком ступоре, я бы вообще не взглянула на Клэра, я бы уехала, и все было бы по-другому. Но нет смысла теперь об этом думать. Суматоха, которую он поначалу устроил вокруг меня, вызывала во мне жалость. Я смотрела на его круглую лысую голову, слушала все его охи-вздохи и думала: что еще я могу, кроме как быть с ним вежливой? Он на большее и не

рассчитывал, ни на что большее, только бы я лежала там и отдавалась ему, и я привыкла к этому. Я оглядывалась в прошлое и думала, неужели я так бессердечна, чтобы просто лежать, позволять ему хватать меня, и любить меня, и стонать мне в шею, неужели я могу слушать то, что он мне говорил, и ни разу не сказать ни единого слова любви в ответ? Я никогда не хотела быть бессердечной и никогда не унижала Клэра, и разве не я отдавалась ему, ну, в девяти случаях из десяти?

Я слышала, как мамуля проснулась и пошла ставить чайник, теперь она попьет чая за газетой. Но чуть погодя она вдруг вскрикнула так, что я испугалась, решив, будто кто-то умер, соскочила с кровати и бросилась в коридор, но мама уже поднималась по лестнице мне навстречу со словами: «Ты спи-спи, прости, пожалуйста, я нечаянно». Я вернулась в кровать и слышала, как она звонит кому-то по телефону — наверное, какой-нибудь старой подружке — обсудить газетные новости, а потом, кажется, я задремала.

Меня разбудил звук подъехавшей машины, кто-то вышел оттуда и пошел по центральной дорожке. Может, Клэр вернулся раньше? А потом, в каком-то полусонном бреду, я подумала: хорошо, что я порвала то письмо. Но это были не его

шаги. Мамуля открыла входную дверь, упреждая звонок, и я услышала голос Альмы Стоунхаус — моей лучшей подруги, которая преподает в средней школе в Джубили. Я вышла в коридор и окликнула ее, перегнувшись через перила:

— Что, Альма, снова приехала покушать?

Альма столовалась в «Бейли», а там кормили то так, то сяк, и, когда ее начинало воротить от запаха мясной запеканки, она сваливалась к нам на голову без приглашения.

Альма бросилась по лестнице наверх, на ходу стряхивая с себя пальто, ее смуглое тонкое лицо просто пылало от волнения, и я поняла: что-то стряслось. Я решила, что это, наверное, связано с ее мужем, потому что они разбежались и он терроризировал ее письмами.

— Привет, Хелен, ну как ты? — сказала Альма. — Только проснулась?

— Услышала твою машину, — ответила я. — Мне на минутку показалось, что это Клэр, но я не ждала его раньше чем через пару дней.

— Хелен, сядь, пожалуйста. Идем к тебе в комнату, тебе надо присесть. Жаль, что именно мне придется сообщать тебе дурную весть. Держись, подруга.

Я увидела мамулю, маячившую у Альмы за

спиной, и спросила:

— Мамуля, это что, шутка такая?

Альма сказала:

— Клэр Маккуарри женился.

— О чем это вы обе? Клэр Маккуарри во Флориде, и я только сегодня получила от него открытку — вон мамуля сама видела.

— Он женился во Флориде, Хелен, успокойся.

— Как он мог жениться во Флориде, он же в отпуске?

— Они прямо сейчас возвращаются в Джубили, собираются здесь поселиться.

— Альма, не знаю, где ты услышала этот бред, но я только что получила от него открытку. Мамуля…

И тут я увидела мамины глаза — они смотрели на меня так, как будто мне снова восемь, у меня корь и температура сорок. В руке у нее была газета, она развернула ее передо мной, чтобы я могла прочесть.

— Это здесь, — сказала она, наверное даже не осознавая, что говорит шепотом. — Об этом напечатали в «Бьюгл геральд».

— Не верю я им ни на грош, — ответила я и начала читать. И прочитала до конца, как будто никогда в жизни не слышала имен, которые там

упоминались, но некоторые все-таки были мне знакомы.

Скромная церемония в Корал-Гейблз, штат Флорида, сочетала браком Клэра Александра Маккуарри, сына миссис Джеймс Маккуарри и покойного мистера Джеймса Маккуарри из Джубили, видного местного бизнесмена и давнего члена парламента, и миссис Маргарет Тору Лисон, дочь покойных мистера и миссис Клайв Тибет из Линкольна, штат Небраска. Мистер и миссис Гарольд Джонсон, сестра и зять жениха, были единственными свидетелями. Невеста была одета в дизайнерский костюм цвета шалфейного листа с темно-коричневой отделкой и корсажем из бронзовых орхидей. На миссис Джонсон был бежевый костюм с черной отделкой и зеленой орхидеей в петлице. В настоящее время новобрачные на автомобиле направляются в свой будущий дом в Джубили.

— Ты все еще считаешь это бредом? — спросила Альма сурово.

Я ответила, что не знаю.

— Ты хорошо себе чувствуешь?

— Да.

Мама сказала, что мы все почувствуем себя лучше, если спустимся и выпьем по чашке чая,

вместо того чтобы тесниться в этой маленькой спальне. И вообще уже пора было ужинать. Так что мы все вместе пошли в кухню — я так и осталась в пеньюаре, и мама с Альмой приготовили ужин на скорую руку, чтобы поддержать силы, как это бывает, когда в доме кто-то очень болен и совершенно не хочется, да и некогда, думать о еде. Холодные мясные сэндвичи, тарелочки с маринованными пикулями, ломтиками сыра и квадратиками тертого печенья.

— Можешь покурить, если хочется, — сказала мамуля мне, впервые в жизни она сказала такое.

И я закурила, Альма тоже, и Альма сказала:

— Я захватила кое-какое успокоительное, оно у меня в сумочке — не очень сильное, так что можешь принять одну-две таблетки.

Я сказала, что нет, спасибо, во всяком случае, не сейчас.

— Он каждый год ездит во Флориду, так?

Я сказала, что да.

— Ну, тогда я думаю вот что: он познакомился с этой женщиной раньше, кто она там — вдова или разведенка, и они переписывались и давно планировали это.

Просто ужасно, сказала мамуля, представить, что Клэр на такое способен.

— Я просто говорю, как это мне видится. И она подруга его сестры, ясно как белый день. Сестрица все это и устроила. Они же и были свидетелями — сестра и ее муженек. Я помню, Хелен, ты мне говорила, что она всегда тебя недолюбливала.

— Я ее почти не знала.

— Хелен-Луиза, ты говорила, что вы с ним просто ждете, когда старая леди умрет, — сказала мамуля. — Ведь так он тебе сказал? Сам Клэр?

— Использовал мать как предлог, — выпалила Альма.

— О, он бы не стал, — сказала мамуля. — Это просто непостижимо, чтобы — *Клэр*?

— Мужчины всегда притворяются, чтобы добиться своего, — сказала Альма.

Повисла пауза, обе посмотрели на меня. Я ничего не могла им рассказать. Не могла им рассказать, о чем вспоминала: в субботу вечером у него, перед его отъездом, он, голый как младенец, прижал к лицу прядь моих волос и сунул в рот, притворяясь, что сейчас отгрызет ее. Я не потерплю ничьей слюны на волосах, но ему позволила забавляться ими, предупредив, что, если он отгрызет прядку, придется ему раскошелиться на парикмахера: надо же будет подровнять остальные. Нет, он вел себя совсем не так, как человек,

собирающийся уехать и *жениться.*

Мамуля и Альма обсуждали и строили предположения, а меня все сильнее и сильнее клонило в сон. Я слышала, как Альма сказала:

— Бывает и хуже. Я четыре года прожила в аду кромешном.

И мамуля ответила:

— Он всегда был таким нежным и так любил мою девочку.

Я не понимала, что со мной, почему на меня вдруг напала сонливость, ведь я только что вздремнула после обеда. Альма сказала:

— Естественная реакция, и очень хорошо, что ты хочешь спать. Естественная реакция, как анестезия.

Они вдвоем проводили меня в спальню и уложили в кровать, а как они ушли, я уже не слышала.

Проснулась я тоже не слишком-то рано. Встала как обычно, приготовила себе завтрак. Я слышала, как мама завозилась в своей комнате, но крикнула ей, чтобы не вставала, пусть все будет как обычно.

— Ты правда хочешь пойти на работу? — спросила она. — Я могу позвонить мистеру Хоуису, сказать, что ты заболела.

Я возразила:

— С какой стати мне доставлять им это удовольствие?

Я накрасилась перед зеркалом в полутемном коридоре, вышла из дому и прошла два квартала до «Кинга», не замечая, какая вокруг погода, разве только то, что весной еще и не пахло. Внутри универмага меня уже поджидали: о, как мило, доброе утро, Хелен, доброе утро, Хелен, такие тихие, полные надежды голоса, которые только того и ждали, что я хлопнусь на пол и забьюсь в истерике. Миссис Маккул, Берилл Аллен со своим обручальным кольцом, миссис Кресс, которую лет двадцать пять назад бросили, она нашла себе другого — Кресса, — а потом и этот исчез. Чего она от меня-то ждет? Старикан Хоуис прикусывал язык, когда улыбался. Я поздоровалась со всеми исключительно весело и отправилась наверх, радуясь, что у меня есть свой собственный туалет, и думая о том, что сегодня в отделе детской одежды точно будет аншлаг. Как в воду глядела. С самого утра мамаши толпами валили, чтобы купить бантик для волос или носочки, даже не поленившись подняться ради этого по лестнице.

Я позвонила мамуле и сказала, что к полудню домой не приду. Я решила дойти до «Квинс-отеля»

и съесть там гамбургер в окружении едва знакомых мне людей с радиостанции. Но в четверть первого заявилась Альма:

— Не хочу, чтобы ты ела в одиночестве в *такой* день.

Так что мне пришлось идти в «Квинс-отель» вместе с ней.

Альма пыталась заставить меня вместо гамбургера съесть сэндвич с яйцом и выпить стакан молока вместо колы, утверждая, что мое пищеварение, наверное, в не лучшем состоянии, но я воспротивилась этому. Она дождалась, пока мы не взяли еду и не уселись за стол, а потом сообщила:

— Так вот, они приехали.

Минуту или две я соображала, кто эти «они».

— Когда?

— Вчера вечером, где-то к ужину. Как раз когда я ехала к тебе. Наверное, я могла бы их встретить.

— Кто тебе сказал?

— Ну, Бичеры живут рядом с Маккуарри, помнишь?

Миссис Бичер преподавала в четвертом классе, Альма — в третьем.

— Грейс их видела. Она тогда уже прочла газету, так что знала, кто это.

— Ну и какая она? — спросила я, преодолевая себя.

— По словам Грейс — далеко не девочка. Где-то его лет. А что я тебе говорила? Она точно подруга его сестры. И по части внешности призов не возьмет. Но ты не думай, она *в порядке.*

— Она крупная или мелкая? — не унималась я. — Блондинка, брюнетка?

— На ней была шляпа, так что Грейс не разглядела, но ей показалось, что скорее темноволосая. Крупная. Грейс сказала, что у нее корма, как у рояля. Наверное, при деньгах.

— Это Грейс сказала?

— Нет, это я. Просто предполагаю.

— Клэру нет необходимости жениться ради денег. У него у самого есть деньги.

— По нашим меркам — может, но он — другое дело.

Всю вторую половину дня я думала, что Клэр придет или хотя бы позвонит мне. И тогда я смогу спросить у него, что это такое он сделал. Мне в голову лезли самые безумные объяснения, которые он мог бы мне дать, вроде того, что эта бедная женщина больна раком и жить ей осталось всего шесть месяцев, а она страшно бедна (поломойка в мотеле, где он жил) и он решил скрасить ей

остаток дней. Или что она шантажировала его зятя по поводу финансовой махинации, и Клэр женился на ней, чтобы заткнуть ей рот. Старушки, отдуваясь, вползали по лестнице в наш отдел, заготовив душещипательные истории о подарках внукам на день рождения. Все внуки и внучки Джубили, похоже, праздновали дни рождения именно в марте. Они все должны быть мне благодарны — не я ли внесла чуточку волнительного разнообразия в их обыденность? Даже Альма выглядела гораздо свежее, чем всю прошедшую зиму. Я ее не виню, думала я, но это правда. И кто знает, может, со мной произошло бы то же самое, если бы Дон Стоунхаус вдруг выполнил свои угрозы изнасиловать ее и отколошматить — это он так сказал, не я — до полусмерти. Я бы жалела ее и изо всех сил старалась ей помочь, но я бы, наверное, подумала, ну как это ни ужасно, но хоть что-то произошло за эту долгую зиму.

И речи быть не могло о том, чтобы прогулять ужин, дома мамуля уже накрывала на стол. Она ждала меня, приготовив хлебец с лососем, салат из капусты и морковки с изюмом, как я люблю, и фруктовый десерт «браун бетти». Но посреди ужина слезы вдруг потекли по мамулиным нарумяненным щекам.

— Мне кажется, уж если кто-то и должен здесь плакать, так это я, — сказала я ей. — Что такого ужасного случилось с тобой?

— Просто… просто я так привязалась к нему, — ответила она, — так привязалась. В моем возрасте не так уж много людей, прихода которых ждешь всю неделю.

— Что ж, мне жаль, — сказала я.

— Но стоит мужчине потерять уважение к девушке, он сразу от нее устает.

— О чем это ты, мамулечка?

— Даже если ты не знаешь, мне ли это рассказывать?

— Как тебе не стыдно, — сказала я и тоже заплакала. — Родной дочери сказать такое.

Надо же! Я ведь всегда считала, что она не знает. И конечно, у нее не Клэр виноват, она во всем винит меня!

— Нет, мне нечего стыдиться, только не мне, — продолжала она, всхлипывая. — Пусть я уже старуха, но я знаю: если мужчина теряет уважение к девушке, он на ней не женится.

— Будь это так, в городе вообще не было бы свадеб.

— Ты сама упустила свой шанс.

— А ты мне за все время ни словечка не сказа-

ла, пока он ходил сюда, а сейчас я и слушать не буду, — отрезала я и ушла наверх.

Она не пошла за мной. Я сидела и курила час, другой, третий… Я не стала раздеваться. Я слышала, как она тоже поднялась по лестнице, как легла спать. Я спустилась в гостиную и какое-то время глядела в экран телевизора, показывали несчастные случаи на дорогах. Я надела пальто и вышла из дому.

Есть у меня маленькая машина — Клэр подарил мне ее год назад на Рождество, малыш «моррис». На работу я на нем не ездила — работа в двух кварталах, глупо ехать туда на машине, хотя некоторые ездят, я даже знаю таких. Я пошла за дом и задним ходом выкатила машину из гаража. Я села за руль впервые с того воскресенья, когда мы с мамулей ездили в Таппертаун навестить тетю Кэй в доме престарелых. Летом я пользовалась машиной чаще.

Я посмотрела на часы и удивилась — двадцать минут первого. Меня слегка знобило, я чувствовала слабость от такого долгого сидения. Жаль, я не взяла у Альмы ее таблеток. Я решила сняться с места, но пока не придумала, куда именно поеду. Я колесила по улицам Джубили, на которых не было ни одной машины, кроме моей. В домах ни

огонька, улицы черны, дворы бледны от залежавшегося снега. Мне казалось, что в каждом из этих домов обитают люди, которые знают что-то, мне неведомое. Люди, которые понимают, что произошло, и наверняка предвидели, что это случится, и только я одна ничего не знала.

Я выехала с Гроув-стрит, свернула на Миннистрит и увидела его дом с торца. Там тоже не было света. Я обогнула дом и посмотрела с фасада. Интересно, им тоже приходится красться по лестнице наверх и врубать телевизор? Но женщина с кормой, как у рояля, на такое не пойдет. Не сомневаюсь, он сразу же привел ее в старухину комнату и сказал: «А это новая миссис Маккуарри», так оно и было.

Я припарковала машину и опустила стекло. А потом, не соображая, что творю, надавила на клаксон со всей силы и не отпускала, пока не устала рука.

Этот звук раскрепостил меня, теперь я могла кричать. И я крикнула:

— Эй, Клэр Маккуарри, я хочу поговорить с тобой!

Никто не ответил. И я заорала на его темный дом:

— Клэр, выходи!

Я снова нажала на клаксон, два, три — не знаю уж, сколько раз. В перерывах между сигналами я орала. Я будто наблюдала за собой со стороны, я была далеко-далеко, такая маленькая, стучала кулачком, и кричала, и сигналила, сигналила, куражилась, вытворяла все, что взбредет мне в голову. И это было так приятно! Я почти забыла, зачем это делаю. Я принялась ритмично сигналить, аккомпанируя своим воплям.

— Клэр, ты выйдешь, в конце концов? Стакан-лимон, Клэр Маккуарри, выйди вон!.. — кричала я, рыдая посреди улицы, и мне было плевать на все.

— Хелен, ты что, хочешь перебудить весь город? — спросил Бадди Шилдс, сунув голову в открытое окно.

Он ночной констебль, и раньше я учила его в воскресной школе.

— Это просто серенада для новобрачных, — сказала я, — а что такого?

— Я должен просить тебя прекратить этот шум.

— А мне не хочется прекращать.

— Ладно, Хелен, ты просто немного расстроена.

— Я зову его, зову, а он не выходит, — сказала я. — Я просто хочу, чтобы он вышел!

— Ну, будь паинькой и перестань сигналить.

— Я хочу, чтобы он вышел!

— Перестань, Хелен, больше не сигналь, ни звука больше.

— А ты заставишь его выйти?

— Хелен, я не могу заставить человека выйти из его собственного дома, если он не хочет.

— Я думала, ты представитель закона, Бадди Шилдс!

— Так и есть, но закон тоже не всесилен. Если ты хочешь с ним увидеться, почему бы тебе не прийти днем и не постучать в дверь тихо-мирно, как и положено приличной даме?

— Он женился, если ты вдруг не знаешь.

— Ну, Хелен, он женат, и это так же верно, как и то, что ночь на дворе.

— Предполагается, что это забавно?

— Нет, предполагается, что это правда. А теперь, может, ты подвинешься, а я отвезу тебя домой? Глянь-ка, окна засветились. Грейс Бичер на нас смотрит, и Холмсы окна пораскрывали. Ты же не хочешь дать им повод для пересудов, а?

— Они все равно только и делают, что болтают, какая разница — обо мне или не обо мне?

Бадди Шилдс выпрямился и чуть отодвинулся от окна машины, и я увидела, как кто-то в черном

идет через лужайку Маккуарри, и это был Клэр. Он был не в халате или пижаме, ничего такого, он был полностью одет: рубашка, пиджак и брюки. Он шел прямо к машине, а я сидела в ожидании, что я ему скажу. Он ничуть не изменился. Толстый, спокойный мужчина с заспанной физиономией. Но под его взглядом, его всегдашним добродушным взглядом мне сразу расхотелось плакать или орать. Я могла сколько угодно, до посинения орать и плакать, но его взгляд от этого ничуть бы не изменился, это не заставило бы его встать с постели чуть быстрее или прибавить шагу, проходя через двор.

— Хелен, езжай домой, — сказал он, как будто мы весь вечер просидели с ним перед телевизором и все такое и теперь пора домой, в постельку. — Мамуле большой привет от меня, — прибавил он. — Езжай домой.

И это все, что он хотел сказать. Он посмотрел на Бадди и спросил:

— Вы ее отвезете?

И Бадди сказал, что да. А я смотрела на Клэра Маккуарри и думала: вот человек, который сам по себе. Его не слишком заботило, что я чувствовала, когда он делал то, что он делал, лежа на мне сверху, и ему было почти безразлично,

какой гвалт я устроила посреди улицы из-за его женитьбы. Это был человек, который ничего не объяснял, — наверное, у него просто не было объяснений. А если он не мог что-то объяснить, что ж, он просто забывал об этом. Сейчас все соседи глазеют на нас, а назавтра он встретит их на улице и расскажет им какой-нибудь анекдот. А как же я? Наверное, встретив меня на улице как-то раз, он просто спросит: «Как поживаешь, Хелен?» И тоже расскажет мне анекдот. И если бы я по-настоящему задумывалась о том, каков он, Клэр Маккуарри, если бы я хоть раз обратила внимание, я бы совсем иначе вела себя с ним и, может быть, мои чувства к нему были бы иными, но, бог знает, имело бы это хоть какое-то значение в конце концов или нет?

— Ну теперь ты понимаешь, что зря устроила весь этот кавардак? — сказал Бадди, а я молча скрючилась на сиденье и смотрела на Клэра, идущего к дому, и думала: да, надо было быть повнимательнее… Бадди спросил: — Ты больше не будешь беспокоить его и его жену, правда, Хеллен?

— Что? — очнулась я.

— Ты ведь больше не будешь беспокоить Клэра и его жену? Потому что теперь он женат

— окончательно и бесповоротно. А завтра утром ты проснешься, и тебе будет страшно неловко за то, что ты сделала сегодня, тебе будет стыдно смотреть людям в глаза. Но позволь мне тебя утешить: всякое бывает, единственное, что нужно сделать, — просто идти дальше и помнить, что ты не одна такая.

И похоже, ему не приходило в голову, до чего забавно то, что он читает проповеди — мне, ведь это мне он сдавал стихи из Библии, и это я застала его однажды за чтением Левит под партой.

— Вот, например, на прошлой неделе… — рассказывал он, ведя машину по Гроув-стрит к моему дому, не слишком поспешно, чтобы по пути закончить проповедь, — на прошлой неделе мы получаем вызов, едем аж на Птичье болото: мол, там машина застряла. Так вот, там старик-фермер размахивает заряженным ружьем и обещает пристрелить эту парочку, если они не уберутся из его владений. Они съехали на проселочную дорогу после того, как стемнело, хотя каждый дурак знает, что в это время года все развезло, застрянешь обязательно. Не стану называть имен, но ты их обоих знаешь, и им абсолютно нечего было делать в одной машине. Одна из них — замужняя женщина. И хуже всего, что ее муж как

раз беспокоился, почему она так задерживается после репетиции хора — эти двое поют в хоре, не скажу в каком, — и заявил об ее исчезновении. Так вот, мы вызвали трактор, чтобы вытащить машину, и оставили его там париться, уняли этого старикана-фермера, а потом уже среди бела дня повезли ее домой, и она всю дорогу рыдала. Вот что я имею в виду, когда говорю, что всякое бывает. А вчера видел этих мужа и жену, они вместе ходили за покупками, вид у них был не слишком радостный, но уж как есть. Так что будь умницей, Хелен, и живи дальше, как все остальные, и скоро-скоро мы все увидим весну.

Ах, Бадди Шилдс, ты говори себе, говори, и Клэр будет рассказывать свои анекдоты, а мама будет плакать, пока не выплачется, но я так никогда и не пойму, почему теперь, увидев в Клэре Маккуарри человека, который ничего не объясняет, я впервые в жизни захотела протянуть руку и *прикоснуться* к нему.

Красное платье – 1946

Мама шила мне платье. Весь ноябрь я приходила из школы и заставала ее на кухне в окружении лоскутов красного бархата и деталей выкройки из папиросной бумаги. Свою древнюю ножную швейную машинку она передвинула под окно — поближе к свету и еще потому чтобы, время от времени бросив взгляд мимо сжатых полей и голых огородов, видеть, кто идет по улице. Но там редко кто появлялся.

Красный бархат был ползуч и сложен в работе, и фасон мама выбрала тоже не из легких. Вообще-то, портниха из нее была не очень. Она любила создавать новые вещи, но это другое дело. При любой возможности она старалась увильнуть от сметывания и припосаживания и считала незазорным для себя не вдаваться в тонкости шитья, вроде обработки петель для пуговиц или обметывания срезов, в отличие от моих бабушки и тети. Мама вдохновенно бралась за дело, осененная смелой и ослепительной идеей, но с этого момента ее удовольствие угасало. Ну, для начала ни один фасон, ни одна готовая выкройка ее не

устраивали. Ничего удивительного — не было на свете таких лекал, которые соответствовали бы идее, расцветшей пышным цветом у нее в голове. В разное время, когда я была помладше, она сооружала для меня то платье из тонкой кисеи в цветочек, с высоким викторианским воротничком, отороченным колючим кружевом, и шляпку к нему, то шотландский клетчатый костюм-тройку с бархатным жакетиком, то вышитую крестьянскую блузу, которая надевалась под пышную красную юбку и черный корсаж на шнуровке. Я послушно и даже с удовольствием носила эти наряды в те дни, когда меня не беспокоило, что обо мне подумает белый свет. Теперь я поумнела, и мне хотелось платьев, купленных в магазине Била, — таких, как у моей подружки Лонни.

Примерок было не избежать. Иногда я приводила Лонни к себе домой, она сидела на диванчике и смотрела. Я стыдилась того, как мама ползает вокруг меня, хрустя коленками и тяжело дыша. Она что-то бормотала себе под нос. Дома она не носила ни корсета, ни чулок, на ней были туфли на толстой подошве и гольфы, ноги ее были испещрены комковатыми сине-зелеными венами. Мне казалось бесстыдным и даже непристойным

то, как она приседает враскоряку, поэтому я, как могла, отвлекала Лонни разговорами, чтобы она поменьше обращала внимание на маму. А Лонни сидела с невозмутимо вежливым, всепонимающим лицом — эту маску она всегда надевала в присутствии взрослых. Знали бы они, как она насмехалась над ними, какие свирепые рожи корчила, передразнивая их.

Мама теребила меня как хотела, коля булавками. Она то вертела меня, то велела отойти, то стоять смирно.

— Ну как тебе, Лонни? — спрашивала она сквозь булавки, зажатые во рту.

— Прекрасно! — отвечала Лонни в своей обычной кроткой, искренней манере.

Мама Лонни умерла. Теперь Лонни жила с отцом, которому совсем не было до нее дела, и потому в моих глазах она была одновременно и уязвимой, и неприкосновенной.

— Будет прекрасно, если удастся посадить по фигуре, — ответила мама. — Ах, да ладно, — театрально воскликнула она и выпрямилась, горестно хрустя коленями и вздыхая, — вряд ли она это оценит. — (Меня бесило, что она вот так говорит обо мне с Лонни, будто Лонни тоже взрослая, а я все еще ребенок.) — Стой спокой-

но, — велела мама, через голову стягивая с меня сколотое булавками и сметанное на живую нитку платье.

Бархат прилипал к голове, а тело оголялось, выставляя напоказ мои старые хлопковые трусы. Я казалась себе огромным сырым комком, неуклюжим, покрытым гусиной кожей. Ну почему я не такая, как Лонни, тонкокостная, бледная и худенькая? У нее был врожденный порок сердца.

— А вот мне в средней школе никто платьев не шил, — сказала мама. — Я шила их сама или оставалась без платьев.

Я испугалась, что сейчас она опять начнет рассказывать, как ей пришлось пешком идти семь миль до города и работать подавальщицей в пансионе ради того, чтобы учиться в школе. Все истории из маминой жизни, которые когда-то были мне интересны, теперь стали казаться мелодраматическими, неуместными и утомительными россказнями.

— Только однажды мне подарили платье, — сказала она, — оно было из бежевого кашемира, отделанное спереди ярко-синим руликом, и с чудесными перламутровыми пуговками, я все думаю, что с ним стало?

Вырвавшись на свободу, мы с Лонни отпра-

вились наверх, ко мне в комнату. В ней была холодрыга, но мы все равно сидели там. Мы болтали о мальчишках из нашего класса, перемалывая косточки каждому из них и спрашивая друг дружку:

— Он тебе нравится? А наполовину — нравится? Ты его терпеть не можешь? Ты встречалась бы с ним, если бы он тебя позвал?

Никто нас не звал. Нам было тринадцать, и мы всего два месяца как перешли в среднюю школу. Мы усердно заполняли тесты в дамских журналах, чтобы узнать свой тип личности и будем ли мы популярны. Мы читали статьи о том, как правильно накладывать макияж, чтобы подчеркнуть наши достоинства, и о чем говорить на первом свидании, и что делать, если молодой человек вознамерился зайти слишком далеко. Еще мы читали статьи, посвященные фригидности и менопаузе, аборту и вопросу о том, почему супруг порой ищет удовлетворения на стороне. Если мы не делали уроки, то большую часть времени проводили, собирая, изучая и обсуждая информацию на сексуальные темы. Мы заключили договор о том, что будем рассказывать друг другу все-все. И только об одном я не сказала лучшей подруге в связи с этими танцами, с этим рождественским

вечером, ради которого мама шила мне платье. А именно — что я не хочу туда идти.

Не знаю, как Лонни, а я, перейдя в среднюю школу, не знала покоя ни минуты. Перед экзаменом у всех нас леденели руки, мы дрожали как осиновые листы, но я находилась на грани отчаяния и все остальное время. Если в классе мне задавали вопрос, любой самый простенький вопрос, голос у меня или срывался, или хрипел, или дрожал. Если приходилось отвечать у доски, то я была уверена, даже в то время, когда этого и быть не могло, что сзади на юбке у меня проступили пятна крови. Руки становились липкими от пота, когда требовалось рисовать на доске окружность большим циркулем. Я не могла выбить мяч в волейболе, любое действие, которое требовалось выполнить на виду у всех, разом останавливало все мои рефлексы. Я ненавидела уроки по делопроизводству, потому что там приходилось от руки разлиновывать таблицы в книге учета, но стоило учителю заглянуть мне через плечо, как все тоненькие линии начинали извиваться и сливаться друг с другом. Я ненавидела естествознание: под неумолимым ярким светом мы сидели, взгромоздившись на высокие стулья, перед столом с хрупким и неведомым

оборудованием, и вел эти уроки сам директор школы, человек, наделенный холодным, полным самолюбования голосом — он читал Библию каждое утро — и огромным талантом унижать. Литературу я тоже ненавидела, потому что мальчишки играли в лото на задней парте, пока учительница, невысокая нежная девушка со слегка косящими глазами, читала Вордсворта, стоя перед нами. Она им грозила, она их уговаривала, лицо у нее краснело, а голос срывался, как у меня. Мальчишки дурашливо просили прощения, а когда она снова начинала читать, сидели будто аршин проглотив, скорчив полуобморочные физиономии, закатив глаза и схватившись за сердце. Иногда они доводили бедняжку до слез, и, не в силах сдержаться, она выбегала из класса в коридор. Тогда мальчишки начинали мычать ей вслед, а мы — да, и я тоже! — хохотали, будто сорвавшись с цепи. В классе воцарялась атмосфера карнавальной жестокости, пугавшая слабых и мнительных людей вроде меня.

Но на самом деле в школе происходило нечто, не имевшее никакого отношения ни к делопроизводству, ни к естествознанию, ни к литературе, — то, что делало жизнь непосредственной и яркой.

Это здание с его неприветливым каменным

цоколем и темными гардеробными, портретами покойных царственных особ и пропавших исследователей было полно напряженной, взволнованной сексуальной конкуренции, и в ней, вопреки всем моим грезам об огромных успехах, я предчувствовала полное поражение. Что-то должно было произойти, чтобы мне не пришлось идти на эти танцы.

В декабре выпал снег, и у меня появилась идея. Сначала я задумала упасть с велосипеда и растянуть ногу и попыталась осуществить это по пути домой на покрытом тонкой наледью проселке. Но это оказалось не так-то легко. Правда, горло и бронхи у меня всегда готовы простудиться, так почему бы не помочь им? Я вставала по ночам и приоткрывала окно, опустившись на колени; я подставляла ветру, иногда и со снегом, мое беззащитное горло. Я снимала пижамную кофту. Стоя на коленях, повторяла, как заклинание: «Посинеть от холода»; зажмурив глаза, я воображала, как синеют моя глотка и грудь, мысленно видела холодную сероватую синеву вен под кожей. Я терпела, пока могла терпеть, а потом, зачерпнув с подоконника пригоршню снега, размазывала его по груди, прежде чем застегнуть пуговицы пижамной кофты. Снег таял под фланелькой, и

я спала во влажной пижаме, что, по идее, было хуже некуда. Утром, едва проснувшись, я прочищала горло в надежде, что оно першит, кашляла для пробы, трогала лоб в нетерпеливом ожидании жара. Все тщетно! Каждое утро, вплоть до самого дня, когда надо было идти на танцы, мое прекрасное здоровье наносило мне сокрушительное поражение.

В день бала я накрутила волосы на стальные бигуди. Раньше я никогда этого не делала, ибо от природы была кудрява, но в этот день я призвала на помощь все возможные женские ритуалы. Лежа на диване в кухне, я читала «Последние дни Помпеи»[9] и думала, как жаль, что я здесь, а не там. Моя вечно неудовлетворенная мама дошивала белый кружевной воротник для платья, решив, что без него оно выглядит чересчур взрослым. Я следила за стрелками часов. Это был один из самых кратких дней в году. Над диваном на обоях виднелись полустертые крестики-нолики и каляки-маляки, которые мы с братом оставили тут во времена своих бронхитов. Я смотрела на них и страстно желала снова оказаться в безопас-

[9] Примечания: 9

Выпущенный в 1834 г. роман английского писателя Эдварда Булвер-Литтона (1803–1873); написан по впечатлению от одноименной картины Карла Брюллова.

ности за прочной оградой детства.

Как только я сняла бигуди, все мои кудри — и натуральные и искусственные — растопырились огромным блестящим кустом. Я их и мочила, и расчесывала, и взбивала щеткой, и приглаживала вдоль щек. Я напудрилась, на моей раскрасневшейся физиономии пудра лежала как побелка. Мама достала духи «Пепел розы», которыми она никогда не пользовалась, и позволила мне надушить руки. Потом она застегнула мне молнию на спине и повернула меня к зеркалу. Платье было в стиле «принцесса», с плотно облегающим лифом. Я увидела, что мои груди в новом жестком бюстгальтере с неожиданной взрослой уверенностью выпирают из-под детских оборок воротника.

— Как жаль, что я не могу тебя сфотографировать, — сказала мама, — я действительно, по-настоящему горжусь, как это платье сидит. Может, хоть теперь ты скажешь мне спасибо.

— Спасибо, — сказала я.

Первое, что сказала Лонни, когда я открыла ей дверь:

— Господи, что ты натворила со своими волосами?

— Накрутила.

— Ты похожа на зулуску. Ну ничего, не волнуй-

ся. Тащи расческу, я тебе спереди сделаю валик. О, все будет в порядке. Ты даже будешь казаться старше.

Я села напротив зеркала, а Лонни устроилась у меня за спиной, поправляя мне прическу. Похоже, мама никак не хотела оставить нас в покое. Вот бы она отвязалась! Она смотрела, как валик обретает форму, а потом сказала:

— Ты поразительная девочка, Лонни. Тебе надо заняться парикмахерским делом.

— А что, это мысль, — сказала Лонни.

На ней было бледно-голубое платье из крепа с баской и бантом. Оно было куда более взрослым, чем мое, даже без воротника. Волосы ее ниспадали плавно, как у девушек на упаковках с заколками. Втайне я всегда думала, что Лонни не грозит быть хорошенькой из-за кривых зубов, но сейчас, какими бы ни казались мне ее зубы, рядом с ней, в этом ее стильном платье, с ее гладкой прической, я казалась себе пугалом, вырядившимся в красный бархат, с выпученными в полубреду глазами и жуткой паклей вместо волос.

Мама проводила нас за дверь и сказала нам, уходящим во мрак:

– *Au reservoir*!

Это было наше с Лонни традиционное проща-

ние, в устах матери оно звучало глупо и жалко, и я так разозлилась на нее за это, что даже не ответила. И только Лонни отозвалась весело и ободряюще:

— Доброй ночи!

Спортзал благоухал сосной и кедром. Красные и зеленые колокольчики из гофрированной бумаги свисали с баскетбольных колец, высокие голые окна были загорожены зелеными хвойными ветками. Похоже, все старшеклассники пришли парами. Некоторые девочки из двенадцатого и тринадцатого пришли с кавалерами, которые уже закончили школу, — это были местные молодые бизнесмены. Они курили в спортзале, и никто их не останавливал, они были свободными людьми. Девушки стояли с ними рядом, их руки непринужденно обнимали мужские рукава, а сдержанные прекрасные лица выражали скуку. Мне ужасно хотелось быть как они. Они держались так, словно лишь для них — для старших — и затеяли эти танцы, а все остальные, все мы, копошащиеся вокруг, были существами неодушевленными, а то и вовсе невидимыми, а когда объявили первый танец — «Пол Джонс», — старшие девушки томно выстроились в круг, улыбаясь друг другу, словно их пригласили поучаствовать в некой

полузабытой ребячьей забаве. Держась за руки и трепеща, сгрудившись в стайку с другими девятиклассницами, мы с Лонни двинулись следом.

Я не решалась взглянуть на внешний круг из страха увидеть чью-нибудь неловкую торопливость. Когда музыка затихла, я остановилась, где была, и, приоткрыв глаза, увидела парня по имени Мейсон Уильямс, который неохотно шел в мою сторону. Он танцевал со мной, едва касаясь моей талии и кончиков пальцев. Коленки у меня подгибались, рука дрожала от самого плеча, речь отнялась. Этот Мейсон Уильямс был школьным героем, он играл в баскетбол и в хоккей и ходил по коридорам с видом царственно-мрачным и варварски-презрительным. Танцевать с таким ничтожеством, как я, было для него столь же оскорбительно, как учить наизусть Шекспира. Я чувствовала это так же ясно, как он, и представила себе, как он обменивается с друзьями растерянным взглядом. Спотыкаясь, он отвел меня на край площадки. Снял руку с моей талии, отпустил мою руку.

— Бывай, — сказал он и ушел прочь.

Мне хватило минуты, чтобы осознать случившееся, и понять, что он больше никогда не вернется. Я отошла и встала в одиночестве у

стенки. Учительница физкультуры, энергично кружась в объятиях какого-то десятиклассника, с любопытством посмотрела на меня. Она была единственной из учителей, кто использовал в речи выражение «социальная адаптация», и я опасалась, что если она видела или узнает от кого-то, то может — ужас какой! — попытаться при всех заставить Мейсона со мной дотанцевать. Сама-то я вовсе не держала зла на Мейсона, я понимала, где в школьном мире он, а где — я, и осознавала, что в его поступке нет ничего сверхъестественного. Он был Настоящим Героем, не тем героем, которого избирали в ученический совет и чьи заслуги не имели никакого значения вне школы, — тот учтиво и покровительственно протанцевал бы со мной до конца, но и тогда я чувствовала бы себя не лучше. И все-таки я надеялась, что не очень многие видели мой позор. Я ненавидела тех, кто все замечает. С досады я принялась кусать заусеницу на большом пальце.

Когда музыка стихла, я присоединилась к толпе девушек в конце зала. «Сделай вид, что ничего не случилось, — сказала я сама себе. — Для начала притворись, ну же!»

Оркестр заиграл снова. Плотная толпа в нашем конце зала зашевелилась и стремительно поре-

дела. Мальчики приглашали, девочки уходили танцевать. И Лонни ушла. Девчонки с противоположной стороны — тоже. А меня никто не пригласил. Я припомнила статью из журнала, которую мы как-то читали вместе с Лонни: «*Будь веселой! Пусть парни видят, как сияют твои глаза, пусть слышат твой смеющийся голос! Это просто! Это очевидно, но как много девушек забывают об этом*!» И правда, я тоже забыла об этом. Я нахмурила брови от напряжения. Наверное, у меня перепуганный и уродливый вид. Я глубоко вдохнула и попыталась расслабить лицо. Я улыбнулась. Но какой абсурд улыбаться в пустоту. И тогда я стала смотреть на девочек на танцплощадке, популярных девочек — они не улыбались, у многих из них лица были сонные, скучные, они вообще никогда не улыбались.

Девочки шли танцевать. Некоторые, отчаявшись, танцевали друг с другом. Но большинство танцевали с парнями. Толстые, прыщавые, бедные девчонки, у которых и платья-то нет выходного, надевшие на танцы юбки с кофтами, — все были востребованы, все ушли танцевать. Почему их пригласили, а меня — нет? Почему кто угодно, только не я? На мне красное бархатное платье, я завила волосы, я воспользовалась дезодорантом

и надушилась. «Умоляю, — думала я, глаза я закрыть не могла, но повторяла мысленно снова и снова: — Пожалуйста, меня, пожалуйста-пожалуйста!» — сложив пальцы за спиной в особый знак — знак более могущественный, чем крестное знамение, этим знаком мы пользовались с Лонни, чтобы нас не вызвали к доске на уроке математики.

Не сработало. Мои страхи сбывались. Мне суждено остаться без пары. Видно, есть во мне некий таинственный порок — неисправимый, как несвежее дыхание, и бросающийся в глаза, как россыпь прыщей, и это знали все, и я это знала всегда. Но все равно сомневалась, надеялась, что это ошибка. Уверенность росла внутри меня, усиливаясь, словно тошнота. Мимо двух или трех девочек, которые тоже стояли у стеночки одни, я бросилась в женский туалет и спряталась в кабинке.

И притаилась там. В перерывах между танцами девочки забегали и тут же выбегали. Кабинок было полно, так что никто не замечал, что я постоянный обитатель одной из них. Я решила больше не испытывать судьбу. Мне просто хотелось отсидеться там, ни с кем не видеться и уйти незаметно, уйти домой.

Музыка заиграла очередной танец, но какая-то девушка задержалась в туалете. Долго-долго лилась в умывальник вода, она мыла руки, причесывалась. Будет смешно, если она заметит, что я так долго засиделась на унитазе. Я решила, что лучше мне появиться из укрытия и помыть руки, а там, пока суть да дело, она и уйдет.

Это была Мэри Форчун. Я знала, как ее зовут, потому что она была членом правления девичьего спортивного клуба, висела на доске почета и вечно что-нибудь организовывала. И на этот раз она тоже была причастна к организации танцевального вечера, помнится, ходила по классам и спрашивала, нет ли добровольцев украшать спортзал. Она училась не то в одиннадцатом, не то в двенадцатом.

— Как тут хорошо и прохладно, — сказала она. — Вот пришла остыть, а то запарилась.

Она расчесывалась, пока я домывала руки.

— Как тебе оркестр? Нравится? — спросила она.

— Ну, в общем, да. — На самом деле я не знала, что сказать, удивившись, что старшая девушка тратит время на разговор со мной.

— А мне нет, отвратительный оркестр. Ненавижу танцевать, когда мне не нравится, как играют.

Они такие дерганые. Лучше уж вообще не танцевать, чем танцевать под это.

Я поправила прическу. Она наблюдала за мной, облокотившись о раковину:

— Я не хочу танцевать и не хочу торчать тут. Может, пойдем покурим?

— А где?

— Пошли, я покажу.

В глубине туалета была дверь. Она была не заперта и вела в темную каморку, забитую швабрами и ведрами. Мэри велела мне придержать дверь, чтобы при свете из туалета найти ручку еще одной двери. Эта дверь открывалась во мрак.

— Свет включить не могу, а то нас засекут, — сказала Мэри. — Это комната уборщицы.

Я подумала о том, что спортсмены, похоже, всегда лучше прочих учеников осведомлены об устройстве школьных помещений, им известно, где что хранится, и любую запретную дверь они открывают храбро и деловито.

— Смотри под ноги, — предупредила Мэри. — Там в конце ступеньки. Они ведут в чулан на втором этаже. Сама дверь закрыта, но тут есть предбанник между лестницей и чуланом, так что даже если кто и придет, то нас не заметит.

— А запах дыма? — спросила я.

— О, ну да, жизнь полна опасностей.

Сквозь окно, расположенное высоко над лестницей, проникало немного света. Мэри достала из сумочки сигареты и спички. До этого я не курила, если не считать самокрутки, которую мы с Лонни скрутили, стащив у ее отца табак и папиросную бумагу. Она развалилась посредине. Сигарета Мэри была куда лучше.

— Я вообще сегодня пришла только потому, — сказала Мэри Форчун, — что отвечаю за украшение зала. И мне, знаешь, хотелось глянуть, как оно будет смотреться, когда народ соберется. А так — что сюда ходить? Я не помешана на парнях.

При свете, сочившемся из высокого окна, я видела ее худое насмешливое лицо, смуглую кожу со щербинками от угрей, тесно посаженные передние зубы — вид у нее был такой взрослый, такой внушительный.

— Большинство девчонок помешаны на парнях. Ты заметила? Величайшее собрание девиц, сдвинувшихся по фазе на парнях, какое только можно себе представить, находится прямо сейчас в этой самой школе.

Я была очень признательна ей за внимание ко

мне, за компанию, за сигарету. И я сказала, что мне тоже так кажется.

— Вот сегодня, например. Я пыталась заставить этих девок повесить гирлянды из колокольчиков и серпантин. Они позалезали на лестницы и давай парней охмурять. Им вообще до лампочки все эти украшения. Нужен только предлог. Единственная цель в жизни — повертеть хвостом перед парнями. Я считаю, полные идиотки.

Мы поболтали об учителях, о школьных делах. Она сказала, что хочет преподавать физкультуру, для этого надо поступать в колледж, но у родителей не хватит на это денег. Поэтому она планирует сама заработать и вообще не хочет ни от кого зависеть, так что пойдет работать официанткой в кафетерий, а летом — на ферму, собирать табак к примеру. Я слушала Мэри, и отступала острая боль одиночества, я больше не чувствовала себя такой несчастной. Вот передо мной девушка, пережившая такое же поражение, как и я, — это было ясно как день, — но она полна энергии и уважения к самой себе. Она строит планы, как жить дальше. Будет собирать табак.

Так за разговором и сигаретой мы провели длинный перерыв между танцами, пока все прочие угощались кофе с пончиками. Музыка

заиграла снова, и Мэри сказала:

— Слушай, чего нам с тобой здесь дальше торчать? Возьмем пальто и махнем в «Ли» — возьмем себе по горячему шоколаду, поболтаем в уютной обстановке, а?

Мы ощупью прошли назад в уборщицкую каморку, пряча в кулаке пепел и окурки. У двери каморки мы остановились и прислушались, дабы убедиться, что в туалете никого. Тогда мы выскользнули на свет и смыли пепел и бычки в унитаз. Чтобы попасть в раздевалку, нам нужно было пройти вдоль танцплощадки к противоположной двери спортзала.

Танец только начался.

— Обойдем по краешку — никто и не заметит, — сказала Мэри.

Я пошла за ней. Я ни на кого не смотрела. Я не искала взглядом Лонни. Наверное, Лонни больше не будет со мной дружить, нашей крепкой дружбе, наверное, пришел конец. Ведь она, как говорит Мэри, тоже «помешана на парнях».

Оказалось, что мне уже не так страшно теперь, когда я решила уйти с этих танцев. Я больше не ждала, что кто-то меня пригласит. У меня были собственные планы. Нет необходимости никому улыбаться или делать знаки, надеясь на удачу.

Все это больше не имело для меня никакого значения. Я просто шла, чтобы выпить чашечку горячего шоколада со своей подругой.

Какой-то парень что-то мне сказал. Он стоял у меня на пути. Я решила, что, наверное, выронила что-то, или он говорит, что тут нельзя пройти или что раздевалка заперта. Я не поняла, что он приглашает меня на танец, пока он не повторил это снова. Рэймонд Болтинг из нашего класса, да я с ним за всю жизнь и словом не перемолвилась. Он решил, что я согласна. Он положил мне руку на талию, и, почти не осознавая, что делаю, я пошла с ним танцевать.

Мы двигались к середине зала. Я танцевала! Ноги мои даже не думали дрожать, а руки не потели. Я танцевала с парнем, который меня пригласил. Никто его не просил, не принуждал, он просто взял и пригласил меня. Возможно ли это? Даже не верилось, может быть, это все не со мной происходит?

«Я обязана сказать ему, — подумала я, — что это ошибка, что я уже ухожу — ухожу, чтобы выпить с подругой горячего шоколада». Но я ничего не сказала. В лице моем происходила некая тончайшая настройка, без всякого усилия оно принимало то самое серьезное и рассеянное выражение, какое

было у тех, кто избран, кто танцует. Именно это лицо увидела Мэри Форчун, когда выглянула из раздевалки, уже набросив на голову косынку. Я слабо махнула ей рукой, лежавшей на плече моего кавалера, как бы выражая свои извинения: мол, сама не знаю, как это вышло, и нет смысла меня ждать. Потом я отвернулась, а когда повернулась опять, Мэри уже ушла.

Рэймонд Болтинг провожал меня домой, а Гарольд Саймонс провожал Лонни. Мы шли все вместе до угла Лонни. Парни затеяли спор о хоккее, в котором мы с Лонни не могли участвовать. Потом мы разделились на пары, и Рэймонд продолжил хоккейный спор как ни в чем не бывало. Кажется, он даже не заметил, что разговаривает со мной, а не с Гарольдом. Один или два раза я заметила:

— Не знаю, я этой игры не видела.

Но потом решила, что надо ограничиться многозначительными «угу» и «ага», и, похоже, ему этого было вполне достаточно.

Еще он сказал:

— А я и не знал, что ты так далеко живешь. — И хлюпнул носом.

От холода мой нос тоже слегка прохудился, я пошарила в кармане и нащупала среди конфет-

ных фантиков обтрепанный бумажный носовой платок. Я колебалась — предлагать ему или не предлагать, но он еще раз так выразительно хлюпнул носом, что я решилась:

— У меня есть вот такой платок, но, кажется, не очень чистый — чуточку в чернилах. Но если мы поделим его пополам, это будет хоть что-то.

— Спасибо, — сказал он, — мне так точно сгодится.

Думаю, я очень правильно сделала, потому что у моей калитки, когда я сказала ему: «Ну что, спокойной ночи!» — он тоже сказал: «Ага, спокойной ночи», а потом наклонился ко мне и поцеловал. Он поцеловал меня с видом человека, который знает свое дело, быстрым поцелуем в уголок рта. А потом ушел обратно по дороге в город, так и не узнав, что стал моим спасителем, ведь именно он вернул меня из мира Мэри Форчун в обычный мир.

Я шла вокруг дома к заднему крыльцу и думала: я была на танцах, танцевала с мальчиком, который проводил меня и поцеловал на прощание. Все так и было! Жизнь моя не безнадежна. Проходя мимо окна кухни, я увидела маму. Она сидела, поставив ноги на открытую дверцу духовки, и пила чай из чашки без блюдца. Она просто

сидела и ждала, когда я приду домой и все-все ей расскажу. А я не расскажу. Никогда в жизни. Но, увидев наполненную ожиданием кухню и маму в заношенном кимоно с выцветшим пейслийским узором, маму с сонным, но упорным в своем ожидании лицом, я поняла, какое таинственное и суровое лежит на мне обязательство — быть счастливой, и как я чуть было все не испортила, и сколько раз еще буду близка к тому, чтобы все испортить, но мама так никогда и не узнает об этом.

В воскресенье пополудни

Миссис Ганнет вошла в кухню, изящно двигаясь в такт мелодии, звучавшей у нее в голове, сверкая пышными оборками сарафана из цветастого глянцевого хлопка. Альва была уже там, мыла бокалы. Было полвторого, гости начали собираться на коктейль с половины первого. Гости как гости — самые обычные, Альва уже видела их пару раз за те три недели, что работала у Ганнетов. Там был брат миссис Ганнет и его жена, Вэнсы и Фредериксы, после службы в церкви Святого Мартина ненадолго приехали родители миссис Ганнет и привезли с собой юного племянника или кузена, который остался после того, как они уехали домой. Родня со стороны миссис Ганнет была правильной родней. У миссис Ганнет было три сестры — все три честные, прямолинейные и не склонные к рефлексии женщины, чуть более атлетического сложения, чем сама миссис Ганнет, — и вот эти восхитительно откровенные и красивые родители, оба убеленные сединами. Именно отец миссис Ганнет владел островом в заливе Джорджиан-Бей, на острове он построил

летние дома для каждой из дочерей — на том самом острове, который Альве доведется увидеть уже через неделю. С другой стороны, мать мистера Ганнета занимала половину краснокирпичного домика на улице без единого деревца, среди точно таких же кирпичных домиков почти в самом центре города. Раз в неделю миссис Ганнет забирала ее и куда-нибудь ездила с ней, а потом привозила к себе на ужин, и никто не пил ничего крепче виноградного сока до самого ее отъезда. Однажды мистеру и миссис Ганнет пришлось уйти куда-то сразу после ужина, и мать мистера Ганнета пришла на кухню и убрала за Альву всю посуду Она была немного раздраженной и держалась отчужденно, женщины в Альвиной семье вели бы себя с горничной точно та же, и Альве это претило гораздо меньше, чем отработанная, нарочитая любезность сестер миссис Ганнет.

Миссис Ганнет заглянула в холодильник, да так и застыла, держа дверь открытой. Наконец она сказала, издав звук, напоминающий хихиканье:

— Альва, я думаю, можно подавать ланч…

— Ладно, — ответила Альва.

Миссис Ганнет внимательно посмотрела на нее. Альва никогда не говорила ничего плохого,

действительно плохого, никогда не грубила, а миссис Ганнет не была настолько далека от реальности, чтобы ждать от старшеклассницы, пусть и провинциальной школы, ответа: «Да, мэм», а ведь именно так отвечали старые служанки на кухне у ее матери, однако в тоне Альвы все чаще проскальзывала намеренная легкость с ноткой подчеркнутой небрежности и угодливости, и это все больше раздражало, потому что миссис Ганнет не могла придумать, как ей этому противостоять. Во всяком случае, хихикать она перестала, ее загорелое накрашенное лицо обрело вдруг подавленное и трезвое выражение.

— Картофельный салат, — сказала она, — заливное и язык. Не забудь разогреть рулеты. Помидоры нарезала? Отлично — о, слушай, Альва, мне кажется, редиска выглядит не слишком привлекательно, а ты что думаешь? Лучше порежь ее потоньше — Джин обычно делала очаровательные розочки, знаешь, вырезала лепесточки по краям, так чудесно.

Альва принялась кромсать редиску. Миссис Ганнет прошлась по кухне, хмурясь и скользя кончиками пальцев по кораллово-голубой поверхности столов. Волосы у нее были вздернуты в тугой пучок на макушке, открывая шею — очень

тонкую, с коричневой, слегка загрубевшей на солнце кожей, — под густым загаром она выглядела жилистой и иссохшейся. Тем не менее Альва, почти не тронутая загаром из-за того, что всю жаркую часть дня она проводила в доме, и в свои семнадцать лет бывшая толще в икрах и талии, чем ей хотелось бы, завидовала этой бронзовой и угловатой элегантности, — казалось, миссис Ганнет вся была сделана из синтетических материалов наивысшего качества.

— Порежь воздушный бисквит струной, ты знаешь как, а потом я скажу тебе, сколько налить шербета и сколько кленового мусса. Простой ванильный — для мистера Ганнета — в морозилке… Тут еще много другого тебе для десерта… О Дерек, ты чудовище!

Миссис Ганнет выбежала в патио, крича: «Дерек, Дерек!» — пронзительным голосом, полным радостного негодования. Альва, знавшая, что «Дерек» — это мистер Вэнс, биржевой маклер, вовремя спохватилась, не дав себе выглянуть в застекленную верхнюю часть двери и посмотреть, что там происходит. Вот это была одна из ее воскресных трудностей: когда они все выпивали, расслаблялись и веселились, Альве все время приходилось держать в памяти, что ей-то

ни в коем случае нельзя выказывать ни капли расслабленности или веселья. Конечно, она не пила, разве только допивала, что оставалось на донышках бокалов, принесенных в кухню, и то только если это был джин, прохладный и подслащенный.

Но ближе к вечеру ощущение нереальности, сменяющих друг друга апатии и бесшабашности все более крепло. Альве стали попадаться навстречу люди, выходящие из туалета в глубокой меланхолии, она мельком замечала женщин, которые в затененных спальнях покачивались перед своими отражениями в зеркалах, тщательно подводя губы, а кто-то прикорнул прямо на длинном кожаном честерфильде в кабинете. К этому времени шторы загораживали стеклянные стены гостиной и столовой от палящего солнца. Эти вытянутые комнаты, задрапированные в ковры и гардины холодных цветов, будто плыли под водой в струях света. Альва с трудом припоминала, какие комнаты были у нее дома — крохотные, заставленные множеством вещей. А здесь было столько мягких сплошных поверхностей, столько пространства, длинный и широкий холл был совершенно пуст, если не считать двух датских ваз, стоявших у противоположной стены, и все

это пространство, и ковер, и стены, и потолок были голубовато-серых тонов. Альва шла через холл совершенно бесшумно, ну хоть бы зеркало какое или что-нибудь, на что можно наткнуться, а то и не знаешь, есть ты или тебя нет.

Перед тем как подавать ланч в патио, Альва расчесалась перед крошечным зеркальцем, стоявшим на краешке кухонного стола, уложив локоны, чтобы красиво обрамляли лицо. Она перевязала передник, как можно туже затянув широкий пояс. Больше она ничего не могла поделать — униформа осталась после Джин, и, впервые примерив ее, Альва заикнулась было о том, что платье ей велико, но миссис Ганнет так не считала. Униформа была голубого цвета — голубой вообще доминировал на кухне — с белыми манжетами, воротником и расклешенным фартучком. Еще Альве пришлось надеть чулки и белые туфли на кубинском каблуке, которые громыхали по каменным плиткам патио, по контрасту с легкими шагами босоножек и туфель это был тяжелый, целеустремленный, плебейский топот. Но никто ни разу даже не оглянулся на нее, когда она вносила в патио тарелки, салфетки, блюда, расставляя все на длинном кованом столе. Только миссис Ганнет пришла и все переставила.

Видимо, что-то все время было не так в том, как Альва накрывала на стол, хотя, в общем-то, по-настоящему серьезных ошибок она не делала.

Пока они угощались, Альва тоже ела свой собственный ланч, сидя за столом на кухне, листая старый номер «Тайм». Конечно, в патио не было звонка, и миссис Ганнет покрикивала: «Давай, Альва!» — или просто: «Альва!» — коротко и пронзительно, почище звонка. Дико было слышать, как она вскрикивает вот так, прямо посреди беседы, а потом снова начинает смеяться. Словно у нее был механический голос и даже кнопка — специально для Альвы.

После трапезы все сами принесли десертные тарелки и кофейные чашки на кухню. Миссис Вэнс сказала, что картофельный салат чудесен. Мистер Вэнс, изрядно навеселе, повторил «чудесен, чудесен». Он стоял прямо у Альвы за спиной так близко, что, моя посуду, Альва чувствовала его дыхание и угадывала положение его рук, он почти касался ее. Мистер Вэнс был мужчина очень крупный, румяный, с курчавыми седыми волосами — Альву он настораживал, потому что к таким мужчинам она всегда относилась с почтением. Миссис Вэнс говорила без умолку, и казалось, что в разговоре с Альвой она ощущает

себя более скованно, нежели другие женщины, хотя в ее отношении было больше теплоты. Вообще чувствовалась в этих Вэнсах некая нестабильность, Альва не совсем понимала почему. Может, из-за того, что у них было не так много денег, как у остальных. В любом случае оба были весьма скоры на выдумку и развлечения, и всегда мистер Вэнс напивался.

— Что, Альва, едешь на север, на Джорджиан-Бей? — спросил мистер Вэнс, а миссис Вэнс прибавила:

— О, тебе понравится, у Ганнетов чудесный дом.

А мистер Вэнс сказал:

— Хоть позагораешь там, ага?

И они ушли. Альва наконец смогла сдвинуться с места, она повернулась, чтобы взять грязную посуду, и тут заметила, что кузен мистера Ганнета, или кто он там ему, все еще здесь. Он был такой же худой и жилистый, как мистер Ганнет, но с темными волосами.

— У вас не осталось немного кофе? — спросил он.

Альва налила ему, как он просил, полчашечки. Он пил стоя, наблюдая за тем, как она составляет посуду:

— Веселенькое дело, да?

А когда она посмотрела на него, он засмеялся и вышел из кухни.

Справившись с посудой, Альва могла быть свободна, обед планировался поздний. Впрочем, ей нельзя было выйти из дому, потому что она могла для чего-нибудь понадобиться миссис Ганнет. И еще она не могла выйти во двор — они были там. Альва поднялась наверх. Потом, вспомнив, как миссис Ганнет сказала, что она может взять почитать любую из книг, стоящих на полках в кабинете, спустилась за книгой. В холле ей встретился мистер Ганнет, он посмотрел на нее очень серьезно и внимательно и уже, кажется, собрался молча пройти мимо, но потом спросил:

— Постой, Альва, — послушай, ты не голодаешь?

Это была не шутка. Мистер Ганнет не имел обыкновения шутить. На самом деле этот вопрос он задавал ей уже два или три раза. Казалось, что он чувствует ответственность за нее, когда она находится в этом доме, и очень важно, чтобы она была вдоволь накормлена. Альва успокоила его, покраснев от досады, — что она, телка?

— Я иду в кабинет за книжкой, — добавила она. — Миссис Ганнет мне разрешила…

— Да-да, бери любую, какую захочешь, — сказал мистер Ганнет и вдруг неожиданно открыл перед ней дверь кабинета и проводил к полкам. Там он остановился и спросил, нахмурившись: — Какая тебе нравится?

Он потянулся к полке с яркими корешками библиотеки приключений и исторических романов, но Альва сказала:

— Я никогда не читала «Короля Лира».

— «Король Лир», — сказал мистер Ганнет. — Хм…

Он не знал, где эту книгу искать, и Альва сама сняла ее с полки.

— И «Красное и черное» тоже не читала.

Это его впечатлило не так сильно, но эта книга как раз для нее, она не могла вернуться к себе в комнату с одним лишь «Королем Лиром». Альва вышла из кабинета очень довольная собой: она продемонстрировала ему, что способна не только есть. Мужчину «Король Лир» поразит сильнее, чем женщину Вот миссис Ганнет ничем не проймешь: служанка есть служанка.

Но, придя в свою комнату, Альва расхотела читать. Комната располагалась над гаражом, и в ней было очень жарко. Если сидеть на кровати, то помнется форма, а другой поглаженной у

нее нет. Можно снять платье и сидеть в одной комбинации, но что, если миссис Ганнет вздумается позвать ее и идти придется немедленно? Альва стояла перед окном, глазея на улицу. Улица лениво изгибалась широким полумесяцем, тротуаров на ней не было, раз или два Альве приходилось по ней ходить, и она чувствовала себя выставленной на всеобщее обозрение. И вечно на этой улице ни души. Дома далеко друг от друга, далеко от проезжей части, отгородившиеся изумрудными лужайками, альпийскими горками и живописными деревьями. Никто не показывался там, кроме садовников-китайцев, а вся садовая мебель, качели, столы располагались на лужайках с тыльной стороны домов, окруженных изгородями, каменными стенами и заборами в деревенском стиле. В этот день вся улица была заставлена припаркованными авто, из-за домов доносились разговоры и громкий смех. Несмотря на зной, нигде не было ни пятнышка, всё — и каменные, и белые оштукатуренные дома, и цветы, и разноцветные машины — казалось прочным и сияющим, аккуратным и совершенным. Нигде ни одного случайного предмета, куда ни взгляни. Улица походила на рекламную картинку, с которой чуть ли не агрессивно выплескивалась яркая

волна летнего настроения. Альва чувствовала, что ее ослепляет все это — и смех, и люди, чья жизнь имела отношение к этой улице. Она присела на жесткий стул у старомодного детского письменного стола — вся мебель переехала в эту комнату из других, когда в них делали ремонт. Это было единственное место в доме, где все осталось нетронутым, не подходило одно к другому, все деревянные предметы были небольшими, приземистыми и неяркими. Она принялась писать письмо домой.

...И все другие дома тоже просто шикарные, большинство очень современные. На лужайках ни одного сорняка — у всех специально нанятые садовники, которые всю неделю день-деньской наводят красоту на то, что и так выглядит превосходно. Какие-то глупые люди — вечно носятся со своими идеальными лужайками и всем остальным. Они выходят из дому и терпят несовершенство время от времени, но все это очень сложно и должно быть только так, и не иначе. И так во всем, что бы они ни делали и куда бы ни шли.

Не переживай насчет того, что я тут одна-одинешенька, угнетаемая всеми подневольная служанка и все такое. Я никому не позволю собой

помыкать. Кроме того, я не настоящая прислуга, это только работа на лето. С чего бы это мне чувствовать себя одинокой? Ничего подобного. Я лишь наблюдаю и изучаю, мне интересно. Нет, мама, конечно ж, я не могу есть с ними за одним столом, глупости какие. Это совсем не одно и то же, как когда нанимают помощницу. К тому же я предпочитаю есть одна. Если ты напишешь письмо миссис Ганнет, она даже не поймет, о чем это ты, и я совсем не против. Так что ничего не пиши!

Еще я считаю, что Марион лучше будет приехать в мой выходной вечер, тогда мы сможем встретиться в центре города. Я не особенно хочу приводить ее сюда. Я не знаю, как тут насчет прихода родственников прислуги. Если, конечно, она очень хочет, то пожалуйста. Просто не всегда могу предвидеть реакцию миссис Ганнет, вот и все. И я стараюсь относиться спокойно и не давать ей спуску. Впрочем, все с ней нормально.

Через недельку мы уезжаем на залив Джорджиан-Бей, и, конечно, я этого жду с нетерпением. Я смогу каждый день плавать, это она (*миссис Ганнет*) *говорит и…*

В комнате было настоящее пекло. Альва положила недописанное письмо под промокашку

на столе. В комнате Маргарет играло радио. Она пошла по коридору к комнате Маргарет, надеясь, что та открыта. Маргарет не стукнуло еще четырнадцати, разница в возрасте компенсировала разницу во всем остальном, так что с Маргарет вполне можно было общаться.

Дверь была открыта, по всей кровати были разложены кринолины и летние платья Маргарет. Альва никогда не думала, что у нее их так много.

— Я, вообще-то, не упаковываюсь еще, — сказала Маргарет, — я же не чокнулась. Просто смотрю, что у меня есть. Надеюсь, что вещи в порядке и что они не слишком…

Альва прикоснулась к девичьим вещичкам на кровати, испытывая огромное наслаждение от этих нежных цветов, от изысканных лифов, ладно скроенных и богато отделанных, от кринолинов с хрустящими и причудливыми всплесками сетки. Вся эта одежда казалась ей прекраснейшим рукотворным воплощением невинности. Альва не завидовала, нет, к ней это не имело никакого отношения, все это было частью мира Маргарет — типичного образчика частной школы (короткие пиджачки, длинные черные чулки), хоккей, хор, летом — парусный спорт, вечеринки, мальчики в блейзерах…

— А куда ты это наденешь? — спросила Альва.

— В Оджибве. В отеле. Там у них танцы каждый уикэнд, все приплывают на лодках. Вечер пятницы для детей, а суббота для родителей и остальных гостей — вот *туда* я и пойду, — сказала Маргарет довольно угрюмо, — если не стану изгоем, как сестры Дэвис.

— Не волнуйся, — сказала Альва чуточку покровительственно, — все у тебя будет прекрасно.

— Я не очень люблю танцевать. Гораздо меньше, чем ходить под парусом, но что поделаешь — приходится.

— Тебе понравится, — сказала Альва.

Значит, намечаются танцы, катание на лодках, а она будет провожать их и встречать. Все именно так, как и следовало ожидать…

Маргарет сидела на полу, скрестив ноги, и смотрела на нее снизу вверх, личико у нее было туповатое и чистое.

— Как ты думаешь, пора мне уже начать целоваться этим летом?

— Да, — сказала Альва. — Я бы начала, — прибавила она почти мстительно.

Маргарет, похоже, растерялась. Она сказала:

— Я слышала, что Скотти поэтому не пригласил меня на Пасху…

Не было слышно ни звука, но Маргарет вскочила.

— Мать идет, — произнесла она одними губами, и почти тут же миссис Ганнет вошла в комнату с хорошо отрепетированной улыбкой на лице и сказала:

— Альва, вот ты где!

— Я рассказывала ей про остров, мамочка, — сказала Маргарет.

— Ох. Там страшно много бокалов скопилось, Альва, и они будут мешаться за обедом. И, Альва, у тебя есть чистый передник?

— Желтое мне так жмет, мамочка, я померила его…

— Дорогая, послушай, не стоит устраивать кавардак с примерками прямо сейчас, до отъезда еще целая неделя…

Альва спустилась, прошла через голубоватый холл, услышала серьезные, чуть навеселе голоса из кабинета и увидела, как дверь швейной комнаты тихонько закрылась изнутри при ее приближении. Она вошла в кухню, думая об острове. О целом острове, который принадлежит им, — куда ни бросишь взгляд, все их. И камни, и солнце, и сосны, и глубокие холодные воды залива. Что она там будет делать? Что там во-

обще делает прислуга? Она сможет поплавать в неурочное время, погулять в одиночестве, а иногда, когда им вздумается пойти в бакалею, может быть, и на лодочке покататься. Там не будет столько работы, как здесь, — так сказала миссис Ганнет. Она сказала, что служанки очень любили эти поездки. Альва подумала о других служанках, этих более одаренных, более сговорчивых девушках: неужели и вправду им нравилось? Что за неведомую ей свободу, что за смысл находили они в этом?

Она наполнила раковину, снова достала сушилку и принялась мыть бокалы. Непонятно почему она чувствовала тяжесть, тяжесть из-за жары, усталости и равнодушия и от долетающего отовсюду неразборчивого, смутного шума — жизней других людей, лодок, машин, танцев, от вида этой улицы, от обещанного острова, от грозного и непрерывного ослепительного сияния солнца. Ни слова сказать, ни рукой шевельнуть.

Надо не забыть перед обедом пойти наверх и сменить передник.

Она слышала, как открылась дверь. Это был кузен мистера Ганнета.

— Вот тебе еще стакан, — сказал он. — Куда его поставить?

— Куда хотите, — сказала Альва.

— Скажи «спасибо», — сказал кузен мистера Ганнета, и Альва обернулась, вытирая руки о передник, удивившись поначалу, а потом, совсем скоро, удивление как рукой сняло. Она ждала спиной к столу, а кузен мистера Ганнета слегка приобнял ее, как в знакомой игре, и потратил какое-то время, целуя ее в губы. — Она пригласила меня приехать на остров в августе, в какой-нибудь выходной, — сказал он.

Кто-то окликнул его из патио, и он вышел, двигаясь с грациозной, слегка насмешливой скрытностью, свойственной людям хрупкого телосложения. Альва так и стояла, прислонившись к столу.

Прикосновение незнакомца раскрепостило ее, тело отозвалось благодарностью и ожиданием, она ощутила легкость и уверенность, как никогда прежде в этом доме. Оказывается, кое-чего она не учла — насчет себя, насчет них, — оказывается, с ними можно сосуществовать, и это вполне реально. Теперь она была не прочь подумать об острове — голые раскаленные камни и черные сосенки. Теперь она видела их иначе, — может быть, теперь она и захочет туда поехать. Но все имеет оборотную сторону. Ей предстояло постичь

еще кое-что — некое уязвимое место, новое, пока еще непостижимое унижение.

Поездка к морю

Точка под названием Блэк-Хорс обозначена на карте, но здесь ничего нет, кроме лавочки, трех домов, старого кладбища и конюшни, принадлежавших прежде церкви, которая давно сгорела. Летом здесь жарко — ни придорожной тени, ни ручья поблизости. Дома и лавка построены из красного кирпича и выкрашены в линялый желтый колер с редкими вкраплениями серого или белого, украшавшими печные трубы и окна. А за ними — бескрайние поля одуванчиков, золотарника и высоченные заросли фиолетового чертополоха. Око путника, следующего к озерам Мускоки и в леса на севере, не может не заметить, что здесь щедрый пейзаж истончается и уплощается, износившиеся локти скал опускаются в поля, а глубокие живописные рощи кленов и вязов уступают дорогу густым и менее радушным зарослям березы и тополя, сосны и ели, где в послеполуденном зное остроконечные деревья у края дороги становятся прозрачными, голубеют, растворяясь вдали, словно ватага привидений.

Мэй лежала в большой, уставленной коробка-

ми подсобке позади магазина. Именно сюда она перебиралась спать летом, когда жара наверху становилась невыносимой. Хейзл ночевала на диване в комнате напротив и полночи крутила радио. Бабушка по-прежнему спала наверху в закупоренной комнатенке, заставленной громоздкой мебелью и увешанной старинными фотографиями, пропахшей нагретым линолеумом и старушечьими шерстяными чулками. Мэй не могла определить, который час, потому что, кажется, ей еще не приходилось просыпаться так рано, как сегодня. Обычно она вставала, когда по полу к ее ногам подползало горячее солнечное пятно, на шоссе громыхали фермерские молоковозы, а бабушка сновала взад-вперед между магазином и кухней, где на плите грелся кофейник и шкварчал на сковородке толстый ломоть бекона. Проходя мимо старого диванчика, на котором спала Мэй (раньше он стоял на крыльце, и подушки его до сих пор чуточку пахли плесенью и сосновыми иголками), бабушка машинально дергала простыню, говоря:

— Вставай, *вставай* же или ты решила проспать до обеда? Тут человек бензин спрашивает.

И если Мэй, сердито бурча, натягивала на голову простыню и не вставала, то бабушка в

следующий раз приносила с собой немножко холодной воды на дне кружки и, проходя мимо, невзначай плескала внучке на ноги. Тут Мэй вскакивала, отбросив от лица длинные пряди волос, все еще хмурясь спросонья, но не обижаясь на бабушку, — она принимала бабушкины правила, как принимала шквал с дождем или рези в животе — с железной уверенностью, что все это когда-нибудь да пройдет. Она одевалась, не снимая ночной рубашки, просто вытащив руки из рукавов, — одиннадцатилетняя Мэй как раз вступила в пору неистовой стыдливости, она наотрез отказывалась от прививок в попу и возмущенно вскрикивала и прикрывалась, когда Хейзл или бабушка входили в комнату во время ее переодеваний, — Мэй считала, что они нарочно это делают, потешаясь над ней, осмеивая саму идею о ее праве на уединение. Она выходила, заливала в машину бензин, а потом возвращалась, окончательно проснувшаяся и голодная, и завтракала пятью тостами с мармеладом, арахисовым маслом и беконом.

Но этим утром Мэй проснулась, когда в подсобке только-только начало светать, — этикетки на картонных коробках едва виднелись. «„Томатный суп Хайнца“, — прочитала она, — „Абрикосы

Золотой долины“». Она совершила секретный ритуал, собирая буквы в тройки. Если сошлось, значит день будет удачный. Тут ей показалось, что она услышала шум, будто кто-то ходил по двору Непостижимая истома охватила все ее тело от самых пяток, заставляя поджать пальцы ног и вытянуть ноги до самого края дивана. Во всем теле ощущалось то же самое, что чувствуешь в носу, когда вот-вот чихнешь. Она встала с кровати так тихо, как только могла, осторожно прокралась по голым доскам подсобки, шатким и пружинящим под ногами, и ступила на шероховатый кухонный линолеум. На ней была старая ситцевая ночнушка Хейзл, вздымающаяся за спиной, словно призрачный плащ.

В кухне было пусто, на полке над раковиной настороженно тикали часы. Один кран вечно подтекал, и вокруг него обмотали кухонную тряпочку, концы которой спускались в раковину. Циферблата было почти не видно из-за оставленного дозревать бурого помидора и банки с порошком, которым бабушка чистила свои вставные зубы. Двадцать минут шестого. Мэй направилась к застекленной двери. Проходя мимо хлебницы, она непроизвольно протянула руку, вытащила оттуда пару булочек с корицей

и, не глядя, куснула одну. Булочка малость зачерствела.

Задний двор в этот час был непривычно влажным и тенистым. Поля казались серыми, а затянутые паутиной косматые кусты вдоль ограды кишели птицами. Блеклое прохладное небо обрамлял ровный рубчик света, мерцающий по краям, словно перламутровая внутренность ракушки. Как хорошо, что бабушка и Хейзл еще спят и ничего этого не видят. Никто не запятнал еще этот день ни единым словом, и его чистота поражала Мэй. Ее охватило смутное предчувствие свободы и опасности, такое же неясное, как полоска рассвета, занимающегося на горизонте. Возле поленницы за углом дома послышался сухой треск.

— Кто тут? — спросила Мэй громко, предварительно проглотив недожеванную булку. — Я знаю, что вы здесь! — сказа она.

Из-за угла показалась бабушка, неся в переднике охапку хвороста для растопки и что-то невнятно и сердито ворча под нос. Ее появление вызвало у Мэй не удивление, а странное разочарование, которое, казалось, протянулось тонкими струнами от этой минуты во все уголки ее жизни — и прошлой, и будущей. Ей казалось, что, куда

бы она ни пришла, бабушка была уже тут как тут, что бы ни открыла она для себя — бабушка все это уже давным-давно знала или могла доказать, что такого ни в коем случае быть не может.

— Мне показалось, что во дворе кто-то есть, — сказала Мэй на всякий случай.

Бабушка посмотрела на нее, как на печную трубу, и прошла в кухню.

— Не думала, что ты встаешь так рано, — сказала Мэй. — Зачем тебе так рано подниматься?

Бабушка не ответила. Она слышит все, что ты скажешь, но не ответит, если ей этого не хочется. Она села перед печкой и принялась разжигать огонь. Бабушка была уже полностью одета — ситцевое платье, синий передник, засаленный и проношенный на животе, расстегнутая, протертая, неопределенного цвета кофта, которую когда-то носил ее муж, и пара холщовых тапок. Вещи болтались на ней вопреки всем ее стараниям быть аккуратной и собранной — все потому, что фигура у нее была какой-то немыслимой формы и одежда не сидела на ней как следует: вся бабушка была плоская и узкая, за исключением небольшого холмика живота, как у беременной на четвертом месяце, смешно выпирающего из-под тощей груди. У нее были шишковатые

костлявые ноги, а руки коричневые, жилистые и скрученные, будто розги. Голова была великовата для такого тела, волосы плотно облегали череп, от этого бабушка походила на рахитичного, но злокозненно-умного младенца.

— Иди поспи еще, — сказала она Мэй.

Но Мэй подошла к кухонному зеркалу и принялась расчесывать волосы и накручивать их на палец, чтобы посмотреть, получится ли из ее волос прическа «паж». Она помнила, что именно сегодня приезжает кузина Юни Паркер. Она возьмет бигуди Хейзл и накрутится, надо только, чтобы бабушка не узнала.

Бабушка прикрыла дверь передней комнаты, где спала Хейзл. Она вылила из кофейника жижу, налила воды и насыпала свежего кофе. Потом достала из-под морозилки кувшин с молоком и понюхала, не прокисло ли, а после выловила ложкой из сахарницы двух муравьев. С помощью маленькой машинки она скрутила себе папиросу, а потом села к столу и погрузилась в чтение вчерашней газеты. Бабушка больше ни слова не сказала Мэй, покуда кофе не поднялся, шипя, и она не погасила огонь. В кухне было уже светло, как днем.

— Если хочешь, можешь плеснуть себе — возь-

ми чашку, — предложила она.

Раньше бабушка говорила, что Мэй слишком мала, чтобы пить кофе. Мэй выбрала красивую чашку с зелеными птичками. Бабушка не возражала. Они сидели за столом и пили кофе; Мэй, в своей ночной рубашке, чувствовала себя привилегированной особой, и все-таки ей было неловко. Бабушкин взгляд блуждал по кухне, по заляпанным стенам и календарям, словно ей приходится за всем этим присматривать, взгляд был довольно хитрый, но рассеянный.

Мэй сказала, будто продолжая беседу:

— А к Юни Паркер сегодня кузина приезжает. Ее зовут Хизер Сью Мюррей.

Бабушка пропустила ее слова мимо ушей:

— Ты знаешь, сколько мне лет?

— Нет, — ответила Мэй.

— Ну, угадай.

Подумав, Мэй предположила:

— Семьдесят?

Бабушка не отвечала так долго, что Мэй решила, будто это просто очередной разговор, зашедший в тупик. Она сказала просто так, для информации:

— Хизер Сью Мюррей с трех лет танцует шотландский хайленд. Она даже в соревнованиях

участвует.

— Семьдесят восемь, — сказала бабушка. — И никто об этом не знает, я не говорила никому. И свидетельства о рождении нет. Ни пенсии, ни пособий никаких… — Она чуточку подумала и добавила: — И в больницах не лежала. У меня в банке достаточно, на похороны хватит. А уж на надгробие придется разориться благотворителям или моей бессовестной родне.

— А зачем тебе надгробие? — мрачно спросила Мэй, расковыривая дырку на клеенке.

Ей не нравился этот разговор, он напомнил довольно подлую шутку, которую сыграла с ней бабушка года три назад. Вернувшись как-то из школы, Мэй обнаружила бабушку на диване в задней комнате — на том, где она сама сейчас спит. Бабушка лежала, вытянув руки вдоль тела, лицо у нее было цвета простокваши, глаза закрыты, а на лице — чистое и неприступное безразличие. Сначала Мэй сказала: «Привет!» — потом позвала: «Бабуля!» — более или менее обыденным голосом, но ни один мускул не дрогнул у бабушки на лице, прежде таком живом и возбужденном. Мэй повторила снова, уже более робко и почтительно: «Бабуля!» — и наклонилась, не слыша ни малейшего дыхания. Она протянула

руку, чтобы коснуться бабушкиной щеки, но что-то ее удержало, было что-то далекое и тревожное в этой холодной морщинистой впадине. А потом Мэй заплакала — заплакала отчаянно и горько, как плачет тот, кто знает, что никто его не слышит. Она боялась снова позвать бабушку, боялась к ней прикоснуться и в то же самое время боялась отвести от нее взгляд. Однако бабушка открыла глаза. Не поднимая рук и не поворачивая головы, она смотрела на Мэй с видом напускной возмутительной невинности, и каким-то странным триумфом светились ее глаза. «Что, уже и прилечь нельзя? — сказала она. — Стыдно, такая большая, а ведешь себя как младенец».

— А я и не говорила, что оно мне *нужно*, надгробие это, — ответила бабушка. — Пойди набрось на себя что-нибудь, — сказала она холодно, когда Мэй эксперимента ради выставила одно плечо в растянутый ворот сорочки, — если, конечно, ты не считаешь себя одной из египетских цариц.

— Чего? — переспросила Мэй, разглядывая свое плечико, покрытое некрасивыми облезающими пятнами от загара.

— Ну одной из тех цариц египетских, которых показывали на ярмарке в Кинкейде.

Когда Мэй вернулась на кухню, бабушка по-

прежнему сидела за столом, пила кофе и просматривала рекламную колонку городской газеты, как будто ей не надо было ни лавку открывать, ни завтрак готовить, словно не было у нее никаких прочих ежедневных забот. Хейзл уже встала и гладила платье, которое собиралась надеть на работу. Она служила продавщицей в Кинкейде, в тридцати милях отсюда, и ей приходилось рано уезжать. Одно время она пыталась убедить мать продать эту придорожную лавочку и переехать в Кинкейд, где полно магазинов, ресторанов и есть Королевский танцевальный павильон. Однако мать не хотела сниматься с места. Она сказала Хейзл, что та может переезжать, если хочет, но Хейзл почему-то осталась. Она была высокой девушкой тридцати трех лет, с вытравленными пергидролем волосами, удлиненным недоверчивым лицом и слега обиженным косым взглядом, один глаз у нее действительно косил, и это усиливало общее впечатление. У нее имелся сундук, набитый вышитыми наволочками и полотенцами и столовым серебром. Она купила набор тарелок и набор кастрюлек с медным донцем и тоже спрятала их в сундук, а все домочадцы — и сама она, и Мэй, и бабушка — по-прежнему ели из щербатых тарелок и варили в таких помятых

кастрюльках, что они качались на плите.

— У Хейзл есть все, что нужно для замужества, одного только не хватает, — говорила бабушка.

Хейзл ездила на все танцы по всей округе вместе с другими девушками, работающими в Кинкейде или преподающими в школе. По утрам в воскресенье она вставала с похмелья и пила кофе с аспирином, а потом надевала шелковое платье в цветочек и уезжала петь в церковном хоре. Ее мать, утверждавшая, что в Бога не верит, открывала лавочку и отпускала туристам бензин и мороженое.

Хейзл оперлась локтями на гладильную доску, зевая и нежно потирая расплывшееся со сна лицо, а бабушка читала вслух:

— «Высокий работящий мужчина тридцати пяти лет желает познакомиться с добропорядочной женщиной, некурящей и непьющей, любящей семейную жизнь. Захребетниц прошу не беспокоиться…»

— Ой, ну, мама! — сказала Хейзл.

— А что такое «захребетница»? — поинтересовалась Мэй.

— «Мужчина в расцвете сил, — не унималась бабушка, — мечтает о дружбе с обеспеченной женщиной без обязательств, жду письма с фо-

тографией».

— Ой, ну, мама, ну прекрати! — сказала Хейзл.

— А что такое «без обязательств»? — спросила Мэй.

— Куда бы вы делись, если бы я действительно вышла замуж? — спросила Хейзл мрачно, глядя на возмутительно довольное лицо матери.

— Ты можешь выйти замуж, когда пожелаешь.

— У меня есть ты и Мэй.

— О, ну-ну…

— Что «ну-ну», ведь правда!

— Ну-ну… — недовольно сказала ее мать. — Я сама о себе забочусь. И так было всегда.

Она собиралась сказать гораздо больше, ибо эта речь была, конечно же, вехой в ее жизни, но мгновение спустя она энергично окинула взглядом пейзаж, раскрашенный ярко и безыскусно, будто детской рукой, и явленный лишь в таком магическом искаженном виде, а потом глаза ее закрылись, будто на веки давил груз нереальности, небезосновательных сомнений в том, что все это когда-либо существовало на самом деле. Она стукнула чайной ложкой по столу и сказала Хейзл:

— Мне ночью снилось такое, что тебе в жизни не приснится.

— А мне вообще никогда ничего не снится, — ответила Хейзл.

Бабушка сидела, постукивая ложкой по столу, и смотрела невидящим взглядом на печную заслонку.

— Снится мне, что иду я по дороге, — сказала она. — Иду, значит, я по дороге мимо калитки Саймонсов и чувствую, что будто облако наползает на солнце и как-то зябко становится вроде. Поднимаю я голову и вижу огромную птицу, да такую огромную, что вы такой в жизни не видали, и черная, как вот эта печка, и зависла она как раз между мной и солнцем. Тебе хоть раз в жизни снилось ли такое?

— Мне никогда ничего не снится, — повторила Хейзл чуть ли не с гордостью.

— А помните тот кошмар, который мне снился после краснухи, когда я спала в передней комнате? — вставила Мэй. — Помните?

— Речь вовсе не о кошмарах, — сказала бабушка.

— Кажется, это были человечки в разноцветных шляпах, они бегали кругами по комнате. Все быстрее и быстрее, так что их шляпы слились в одну линию. Они были невидимыми, видны были только эти разноцветные шляпы.

Бабушка высунула язык, чтобы слизнуть табачные крошки, приставшие к губе, а потом встала, открыла печную заслонку и плюнула в огонь.

— Как об стенку горох, — сказала она. — Мэй, подложи веток в огонь, я поджарю нам бекона. Не хочу топить плиту дальше, я не выдержу.

— Сегодня будет еще жарче, чем вчера, — сказала Хейзл невозмутимо. — Мы с Луис договорились не надевать чулок. А если мистер Пиблз хоть заикнется, мы скажем ему, неужто, мол, он считает, что его наняли ходить и разглядывать чужие ноги? Пусть ему *станет стыдно*, — сказала она.

Ее высветленные волосы исчезли под платьем, оттуда раздался короткий смешок, словно одиночный звук колокольчика, в который случайно позвонили, а потом спохватились.

— Хэх! — хмыкнула бабушка.

После полудня Мэй, Юни Паркер и Хизер Сью Мюррей сидели на ступенях магазина. Где-то в полдень облака чуть затянули небо, но день, похоже, обещал быть еще жарче. Не слышно было ни кузнечиков, ни птиц, только низовой ветер — горячий, ползучий ветер шуршал в пожухлой деревенской траве. Была суббота, и потому никто не останавливался у магазина, местные проезжали мимо, спеша в город.

— Девчонки, — спросила Хизер Сью, — а вы никогда не ездили на попутках?

— Нет, — ответила Мэй.

А Юни Паркер — ее лучшая подружка вот уже два года — сказала:

— О, Мэй никогда не позволят. Ты не знаешь ее бабушку. Ей ничего нельзя.

Мэй погрузила ступни в горку пыли, наступив пяткой на муравейник.

— Тебе тоже ничего нельзя.

— Нет, мне можно, — ответила Юни, — могу делать что хочу.

Хизер посмотрела на них озадаченно и спросила:

— Ну а что вы тут делаете-то? Я имею в виду, чем тут девчонкам можно *заняться*?

У нее была коротенькая стрижка, волосы сухие, черные и кудрявые. Губы у нее были накрашены помадой цвета яблока в карамели, и, кажется, она побрила ноги.

— Мы ходим на кладбище, — брякнула Мэй.

Да, они туда ходили. Почти каждый день после полудня они с Юни проводили на кладбище, потому что там была тень, а малявки туда ходить боялись, так что никто их не беспокоил, и они могли болтать сколько влезет, без опасений, что

их подслушают.

— Куда-куда вы ходите? — переспросила Хизер Сью, а Юни бросила сердитый взгляд на грязь у них под ногами и сказала:

— Ох, да никуда мы не ходим. Терпеть не могу это дурацкое кладбище.

Иногда они с Мэй по полдня рассматривали кладбищенские надгробья, выискивали на них имена поинтереснее и придумывали тем, кто под ними похоронен, целые биографии.

— Девчонки, не пугайте меня, — сказала Хизер Сью. — Жара жуткая, да? Если бы я была сейчас дома, то пошла бы с подружкой купаться в бассейн.

— Можем поплавать у Третьего моста, — сказала Юни.

— А это где?

— Недалеко, около полумили по дороге.

— По такой жаре? — удивилась Хизер Сью.

— Я подвезу тебя на раме, — отозвалась Юни и сказала, обращаясь уже к Мэй, слишком уж весело и радушно: — У тебя ведь тоже есть велик, поехали с нами.

Мэй поразмыслила минуту, а потом встала и вошла в лавочку, где всегда было сумрачно, даже днем, но тоже жарко, с большими деревянными часами на стене и корзинками, полными сладко-

го и крошащегося печенья, мягких апельсинов, лука. Она пошла в подсобку, где бабушка сидела на стуле возле мороженицы под большой рекламой пекарского порошка, выложенной на фольге и сверкающей, как рождественская открытка.

— Можно мне поехать купаться вместе с Юни и Хизер Сью? — спросила Мэй.

— И куда вы собрались? — поинтересовалась бабушка почти безразлично. Она знала, что место для купания есть только одно.

— К Третьему мосту.

Юни и Хизер вошли в магазин и маячили в дверях подсобки. Хизер Сью мягко и вежливо улыбнулась бабушке.

— Нет, нельзя.

— Там же неглубоко!

Бабушка в ответ лишь загадочно хмыкнула. Она сидела, опираясь локтем о колено и прижав подбородок большим пальцем.

— Почему мне нельзя поехать? — не сдавалась Мэй.

Бабушка не отвечала. Юни и Хизер Сью наблюдали в дверях.

— Почему мне нельзя? — повторила Мэй. — *Бабуля*, почему?

— Сама знаешь почему.

— Почему?

— Потому что там парни собираются. Я тебе уже говорила. А ты уже становишься слишком большой для этого. — Губы ее плотно сомкнулись, а лицо приобрело уродливое и удовлетворенно-заговорщицкое выражение. Теперь она смотрела прямо на Мэй и не отводила взгляда, пока та не залилась краской от стыда и злости. Тогда бабушкино лицо несколько оживилось. — Вот пускай все прочие и бегают за мальчиками.

Она даже не взглянула на Юни и Хизер Сью, но при этих словах они развернулись и вылетели из магазина. Слышно было, как они промчались мимо бензоколонки, захлебываясь диким и каким-то отчаянным хохотом. Бабушка и виду не подала, что слышит.

Мэй ничего не сказала. Она постигала во мраке новое измерение горечи. Ее не оставляло чувство, что бабушка и сама уже *не верит* в свои доводы, но все равно извлекает их из мешка и злобно расцвечивает, лишь бы поглядеть на те разрушения, которые они творят.

А бабушка сказала:

— Эта Хизер, мисс как-ее-там-звать. Видала я, как она утречком вылезала из автобуса.

Мэй прошла через лавку прямо в подсобку,

оттуда на кухню и вышла на задний двор. Она села у колонки, обшитой древним деревом, позеленевшим от гнили, с протекающим носиком и островком влажной грязи меж пучков высохшей травы. Мэй сидела там, пока не заметила огромную жабу, довольно старую и, как ей показалось, усталую. Жаба тяжко плюхалась среди травы. Мэй поймала ее и зажала в ладони.

Она услышала, как хлопнула застекленная дверь, увидела бабушкины тапки, ее невообразимые щиколотки двигались в траве неподалеку. Держа в одной руке жабу, в другую Мэй взяла короткий острый прут. Методично она принялась тыкать прутом в жабий живот.

— Отпусти ее, — сказала бабушка так, что Мэй уронила прутик. — Пусть себе скачет, убогая, — сказала бабушка, и Мэй очень медленно открыла ладонь.

Она ощутила запах бабушки, которая стояла рядом, — особенный запах плоти, сладковатый и гнилостный, — так пахнет увядающая кожура старого яблока, этот запах проник всюду и переборол более обыденные запахи крепкого мыла, отглаженного до хруста ситца и табака, которые всегда витали вокруг нее.

— Спорим, что тебе невдомек… — сказала гром-

ко бабушка, — тебе невдомек, о чем я только что раздумывала, сидя в магазине.

Мэй не ответила. Она наклонилась и стала с интересом отковыривать сухую корку на пятке.

— Я думала, что, наверное, продам магазин, — сказала бабушка так же громко и монотонно, как будто разговаривала с глухонемой. Она стояла, вперив взгляд в косматый от синеватых сосен горизонт, старушечьим жестом придерживая передник, плашмя прижав к нему ладони, и говорила: — Мы с тобой можем сесть на поезд и поехать в гости к Льюису.

Это был ее живущий в Калифорнии сын, которого она не видела уже лет двадцать. Мэй подняла глаза, — может, бабушка решила над ней подшутить? Она всегда говорила, что туристы — это дураки, которые думают, что какое-то место хоть чем-то лучше другого и что где-то может быть лучше, чем дома.

— Поедем с тобой к морю, — говорила бабушка. — Это не так уж дорого, мы можем как-то вечерком сесть и спаковать себе провизию. Всегда лучше приехать со своей едой, а то кто знает, чем там тебя накормят.

— Ты слишком старая, — сказала Мэй безжалостно. — Тебе семьдесят восемь лет.

— Люди в моем возрасте куда только не путешествуют — даже в Старый Свет, глянь в газеты.

— У тебя может случиться сердечный приступ, — сказала Мэй.

— Ну, тогда меня погрузят в вагон между латуком и помидорами, — сказала бабушка, — и доставят домой холодненькую.

А перед глазами Мэй тем временем возник берег моря. Ей привиделся вытянутый песчаный полумесяц, похожий на пляж у озера, только более длинный и яркий. И само это слово «море» дарило ощущение прохлады и восторга. Но она не верила ему, не могла понять. Ведь за всю ее жизнь бабушка ни разу не пообещала ей ничего приятного!

У входа в магазин стоял человек, потягивая лимонад. Это был коротышка средних лет, с одутловатой, багровой от жары физиономией. На нем была не очень чистая белая сорочка и блеклый шелковый галстук. Бабушка придвинула табурет к прилавку и заговорила с посетителем. Мэй стояла спиной к ним обоим и смотрела в дверной проем. Повисли неопрятные облака, мир погрузился в дряхлый, пыльный, неприветливый свет, который, казалось, исходил не с небес, а от плоских кирпичных стен, белых дорожек, серых

листьев на кустах и металлических указателей, хлопающих на горячем монотонном ветру. С тех пор как бабушка вышла следом за ней со двора, Мэй чувствовала: что-то изменилось, что-то дало трещину. Да, это был новый свет, в котором она увидела мир. И еще она чувствовала что-то в себе самой — что-то похожее на силу, на несомненную, но до поры не использованную мощь своей враждебности — и решила пока придержать ее, вертя, словно холодную монету в кулаке.

— От какой компании вы разъезжаете? — спросила бабушка.

— «Текстиль и ковры», — ответил приезжий.

— А что, вашим сотрудникам не дают отдохнуть с семьями на выходных?

— Я тут не по делам, — сказал коротышка. — По крайней мере, не по делам «Текстиля и ковров». Можно сказать, что я еду по личному делу.

— А, понятно, — сказала бабушка, давая понять, что никогда не вмешивается в чужие личные дела. — Похоже, скоро дождь начнется, вам не кажется?

— Может быть, — ответил коротышка, допил лимонад одним большим глотком, поставил бутылку и вытер рот носовым платком.

Вот он-то был из тех, кто на каждом углу рас-

сказывает о своих личных делах и, разумеется, не может говорить ни о чем другом.

— Я еду к своему приятелю — проведать его, он снял летний домик. У приятеля страшная бессонница, вот уже семь лет он ни одной ночи не спал как следует.

— Ну и ну, — заметила бабушка.

— Хочу повидаться с ним и посмотреть, смогу ли я его вылечить. У меня были весьма неплохие успехи в лечении бессонницы. Не сто процентов, конечно. Но весьма неплохие.

— Так вы еще и врач?

— Нет-нет, — ответил мужчина. — Я гипнотизер. Любитель. Я не считаю себя профессионалом, я всего лишь дилетант.

Старуха какое-то время смотрела на него, не произнося ни слова. Коротышку это нисколько не обескуражило, он прошелся по магазину, брал с полок товары и рассматривал их с весьма оживленным и самодовольным видом.

— Могу поспорить, вы никогда в жизни не встречали человека, который назвался бы гипнотизером, — сказал он бабушке насмешливо. — Я ведь выгляжу точно так же, как все, правда? Я кажусь очень смирным.

— Не верю я в такие вещи, — сказала она.

Он только хохотнул:

— И что это значит — *не верите*?

— Я не верю ни в какие суеверия.

— Это не суеверия, леди, это факт из жизни.

— Я знаю, что это.

— Ну, множество людей придерживаются такого же мнения, их на удивление много. Наверное, вам не приходилось читать статью на эту самую тему, которая была опубликована в «Дайджест» пару лет назад? Жаль, я не захватил ее с собой, — сказал он. — Все, что я знаю, — это то, что мне удалось вылечить одного алкоголика. Я избавлял людей от разного рода сыпи и чесотки и от всяческих вредных привычек. Нервы. Я не утверждаю, что могу исцелить любого от его нервных привычек, но могу сказать, что многие люди очень благодарны мне. Очень благодарны.

Старуха прижала руки к вискам и ничего не ответила.

— Что случилось, леди, вам нездоровится? У вас болит голова?

— Нет, все хорошо.

— И как же вы исцеляли тех людей? — отважно спросила Мэй, хотя бабушка всегда талдычила: не дай бог, увижу, что ты разговариваешь с незнакомцами в магазине…

Коротышка учтиво повернулся к ней:

— С помощью гипноза, юная леди. Я гипнотизирую их. Или мне стоит объяснить вам, что такое гипноз?

Мэй, понятия не имевшая, о чем спрашивает, вспыхнула, не зная, что и ответить. Она видела, что бабушка сверлит ее взглядом. Бабушка словно поглядывала с тревогой из собственной головы на Мэй и на весь мир, как будто они полыхали огнем, а она ничего не могла с этим поделать, не могла даже донести до них эту страшную новость.

— Она сама не знает, о чем говорит, — сказала бабушка.

— Ну, все очень просто, — сказал коротышка, обращаясь непосредственно к Мэй напыщенно-нежным голосом, которым, как он, наверное, полагал, следует разговаривать с детишками. — Представь себе, что ты погружаешь человека в сон. Но на самом деле он не спит, понимаешь, детка? С ним можно разговаривать. И, послушай — ты только послушай! — можно проникнуть в глубины его сознания и обнаружить там то, о чем он сам даже и не вспомнит, когда проснется. Вытащишь наружу его потаенные страхи и тревоги, которые и стали причиной его напастей. Ну разве это не чудесно?

— Со мной у вас бы этот номер не прошел, — сказала бабушка. — Я бы знала, что происходит. Со мной у вас ничего не вышло бы.

— Спорим, что вышло бы! — выпалила Мэй, да так и осеклась с открытым ртом. Она сама не понимала, зачем это ляпнула.

В который раз она наблюдала за бабушкиным противостоянием внешнему миру — не столько с гордостью, сколько с твердой, несокрушимой уверенностью, что бабушка победит. Но вот теперь она впервые увидела вероятность бабушкиного поражения, это было написано у бабушки на лице, и не этот коротышка, который, наверное, чокнулся и смешил ее ужасно, был тому причиной. Эта мысль встревожила Мэй и наполнила ее болезненным и непреодолимым возбуждением.

— Ну, никогда нельзя утверждать наверняка, пока не попробуешь, — сказал коротышка, будто в шутку.

Он смотрел на Мэй. Бабушка решилась.

— Мне это без разницы, — пренебрежительно сказала она, поставила локти на прилавок и обхватила голову руками, будто что-то выжимая из нее. — Только время потратите.

— Вообще-то, вам следовало бы лечь, чтобы лучше расслабиться.

— С меня… — ответила бабушка и, казалось, задохнулась на мгновенье, — с меня довольно и сидения.

Тогда коротышка снял открывалку для бутылок с магазинного стенда для безделушек и встал прямо напротив бабушки. Он ничуть не спешил. Когда он заговорил, голос у него был самый обычный, только чуточку изменившийся — он стал более мягким и отстраненным.

— Итак, я знаю, что вы сопротивляетесь этой идее, — сказал он тихо. — Вы противитесь ей, и мне известно почему. Потому что вы боитесь.

Старуха издала не то протестующий, не то тревожный возглас, и он поднял руку, но поднял ее осторожно.

— Вы боитесь, — повторил он, — и все, что я хочу, — это показать вам, и все, что я хочу показать вам, я хочу показать вам, что здесь нечего бояться. Нечего бояться. Нечего. Вам нечего бояться, просто следите глазами за этим блестящим металлическим предметом у меня в руке. Вот именно, просто следите глазами за этим блестящим металлическим предметом у меня в руке. Просто смотрите на него. Не думайте. Не тревожьтесь. Просто скажите себе: здесь нет ничего страшного, ничего страшного, ничего страшно-

го… — Он понизил голос.

Мэй не могла вымолвить ни слова. Она стояла, опираясь на холодильник с безалкогольными напитками. Ей хотелось рассмеяться, она ничего не могла с собой поделать, глядя на какую-то несолидную спину этого человечка, на его затылок и белые круглые подергивающиеся плечи. Но она не засмеялась, ибо ждала, как поступит бабушка. Если бабушка капитулирует, то произойдет катастрофа вроде землетрясения или потопа, это подорвет всю основу ее жизни и сделает Мэй ужасающе свободной. С яростной, немигающей покорностью бабушка уставилась на открывалку в руке гипнотизера.

— А теперь скажите мне, — произнес он, — если вы все еще видите… если все еще видите… — Он наклонился вперед и заглянул ей в лицо. — Только скажите мне, видите ли вы…

Старухино лицо с огромными холодными глазами и жесткой яростной гримасой оказалось вровень с его лицом. Он умолк. Отпрянул.

— Эй, что случилось? — спросил он, но не гипнотическим, а обычным голосом — вообще-то, более резким голосом, от которого Мэй так и подскочила. — В чем дело, леди, ну-ка, просыпайтесь! Проснитесь! — Он слегка тряхнул ее за плечо.

Старуха, по-прежнему глядя на него с нескрываемым презрением, рухнула с громким стуком поперек прилавка, повалив на пол несколько упаковок салфеток, жвачки и украшений для пирога. Коротышка уронил открывалку на пол, бросил на Мэй негодующий взгляд и закричал:

— Я не виноват! Такого раньше никогда не было! — С этими словами он вылетел из магазина и побежал к машине.

Мэй слышала, как взревел мотор, и выскочила за коротышкой следом, словно хотела что-то крикнуть ему, словно хотела позвать его на помощь или задержать. Но она ничего не крикнула. С разинутым ртом Мэй застыла столбом в пыли у колонок, да он бы ее все равно не услышал. Он лишь протестующее махнул из окна, машина взревела и умчалась на север.

Мэй стояла и ждала, не покажется ли на шоссе другая машина, но машин не было. Дворы Блэк-Хорс были пусты. Незадолго до этого начался дождь, капли падали вокруг нее, каждая по отдельности, вздымая паль. Наконец она вернулась и села на крыльцо магазина, но дождь шел и там. Было довольно тепло, и Мэй не возражала против дождика. Она сидела, поджав ноги, и смотрела на дорогу, по которой она теперь могла идти,

куда ей заблагорассудится, и на мир, который расстилался перед ней, такой доступный и такой безмолвный. Она сидела и ждала минуты, когда уже не сможет больше ждать, когда ей придется встать и войти в магазин, из-за дождя еще более сумрачный, чем всегда, войти туда, где поперек прилавка лежит ее бабушка — мертвая и, самое главное, непобедимая.

Утрехтский мир

I

Три недели дома прошли без толку. И хотя мы с Мэдди радостно уверяем друг друга, какое наслаждение так долго и так тесно общаться, расставшись, мы обе вздохнем с облегчением. Нас угнетает молчание. Мы хохочем без всякой меры. Я боюсь — да, похоже, мы обе боимся, что когда наступит миг расставания, то, хотя мы обе скоры на поцелуи и горячие шутливые тисканья, нам придется воочию увидеть ту пустыню, которая распростерлась меж нами, и признать, что мы не просто равнодушны друг другу — в душе мы отвергаем друг друга, словно наше прошлое, в котором у нас было столько общего, на самом деле вовсе не было нашим общим прошлым, каждая из нас ревниво приберегала его только для себя, втайне считая, что другая стала чужачкой и утратила на него всякие права.

Вечерами мы частенько засиживаемся на ступеньках веранды, потягивая джин, и с наслаждением дымим, отгоняя комаров, оттягивая время ухода ко сну. Жара. Вечера остывают долго.

Высокий кирпичный дом, который до середины дня остается довольно прохладным, вбирает в себя полдневный жар и держит его до глубокой темноты. Так было всегда, и мы с Мэдди вспоминаем, как стаскивали на веранду матрас и лежали на нем, считая падающие звезды и стараясь не уснуть до рассвета. У нас это никогда не получалось — еженощно мы проваливались в сон, как только с реки начинало тянуть прохладой, пахнущей камышами и черной тиной. В полдесятого через город проезжает автобус, не слишком замедляя ход, — нам он виден с того конца улицы. На этом же самом автобусе я возвращалась когда-то из колледжа домой. Помню один такой приезд в Джубили: стоял теплый вечер, я смотрела в окно автобуса на землю без травинки, сквозь которую выпирали мощные древесные корни, на питьевые фонтанчики и лужицы вокруг них по всей главной улице, на невнятные каракули из синих, красных и оранжевых лампочек, гласившие: «БИЛЬЯРДНАЯ» и «КАФЕ», и, узнавая эти надписи, чувствовала странную подавленность и отторжение, ведь я меняла целый мир — праздничный мир школы, друзей, а позднее и любви, чтобы возвратиться в этот тусклый домашний мирок — мирок нескончаемой катастрофы. Мэд-

ди совершала такие же путешествия, только четырьмя годами раньше меня, и наверняка чувствовала то же самое. Мне хочется спросить ее: возможно ли, чтобы те, чье детство прошло как у нас, все-таки разуверились в любой заурядной мирной реальности и перестали чувствовать себя в ней как дома? Но я не спрашиваю, мы никогда не ведем разговоры на такие темы. «Только давай без экзорцизма! — говорит Мэдди звонким голосом, в ее речи проскальзывают позабытые мной местные вульгарные интонации. — Не будем огорчать друг друга». Ну конечно не будем.

Как-то вечером Мэдди взяла меня с собой на вечеринку на Озере — это чуть западнее, в тридцати милях отсюда. Вечеринку устраивали две подруги из Джубили — они сняли на неделю коттедж и созвали гостей. Большинство женщин, похоже, были вдовами, незамужними, брошенными или разведенками. Мужчины по большей части были молодые холостяки — я почти не помнила их, в мою бытность в Джубили они были совсем маленькими мальчиками из начальных классов. Пришли двое или трое мужчин постарше, тоже без жен. Но женщины — женщины удивительно напоминали обитательниц Джубили, знакомых мне с детства, хотя в те времена я их никогда не

видала на вечеринках — только в магазинах и в конторах, а частенько и в воскресных школах. Эти женщины отличались от замужних тем, что лучше осознавали свое место в мире, были чуть ярче, резче и грубее (впрочем, среди них нашлось бы лишь две или три, в чьей порядочности можно было бы усомниться). Они носили подчеркнуто стильную, хоть и под стать «бальзаковскому возрасту», одежду, скрипевшую и шелестевшую поверх жестких эластичных корсетов, и сбрызгивали духами — подчас слишком рьяно — искусственные цветы на платьях. Подруги Мэдди были куда более современны: они красили волосы в медный цвет, а на веки накладывали голубые тени и обладали недюжинной способностью поглощать спиртное.

Мэдди, как мне казалось, на них никак не походила — с ее стройной фигурой, все так же небрежно распущенными волосами, заострившимися контурами лица и взглядом, по-прежнему девически дерзким и гордым. Но в речи ее сквозил тот самый шершавый местный выговор, над которым мы вместе насмехались прежде, а выражение лица, когда она куражилась и набиралась, было решительным и непоколебимым. Мне казалось, что чем больше она силится слиться с

этими людьми, тем хуже это у нее получается. И еще она, по-моему, хотела показать мне, что ей это удается, показать мне, что она отреклась от того тайного, бодрящего, воистину чудовищного снобизма, который мы с ней культивировали, будучи детьми, суля себе, конечно же, нечто гораздо большее, чем наш родной Джубили.

Пока гости развлекались игрой, в которой дамы снимают с себя какой-нибудь предмет туалета (поначалу благопристойно ограничиваясь туфлей) и кладут в корзину, а затем входят все мужчины и между ними начинается состязание, кто быстрее подберет вещам хозяек, я вышла и отсиживалась в машине, чувствуя себя одиноко без мужа, без друзей. Там я и задремала под веселый гомон вечеринки и плеск прибрежных волн. Мэдди пришла нескоро.

— Господи боже! — сказала она, а потом засмеялась и беспечно — ну точь-в-точь какая-нибудь леди из английского кинофильма — произнесла: — Ты полагаешь все эти забавы дурным тоном?

Мы обе засмеялись. Я чувствовала себя виноватой, и меня слегка мутило от выпитого, но я даже не опьянела.

— Может быть, они не слишком сильны в интеллектуальных беседах, но зато они люди ду-

шевные, как говорится: сила хорошо, а ум лучше, а доброе сердце все покрывает.

Я не спорила, мы домчались от самого Инвергурона до Джубили со скоростью восемьдесят миль в час и больше ни на какие вечеринки не ходили.

Но мы не всегда пребываем в одиночестве, сидя на ступеньках крыльца. Частенько нам составляет компанию некто Фред Пауэлл. На вечеринке он мирно расположился у стеночки, запоминая, кто что пьет, и дружелюбно поддерживал голову, когда кто-то перепивший перегибался через шаткие перила на крыльце. Он, как и мы, вырос в Джубили, но я его не помню — скорее всего, потому, что он закончил школу задолго до нас, а потом ушел на войну. К моему удивлению, Мэдди притащила его на ужин в день моего приезда, мы провели тот вечер и многие последующие вечера, преподнося этому незнакомцу наше детство или, точнее, ту версию нашего детства, которая благополучно сохранилась с виде анекдотов, будто обернутая в воображаемый целлофан. Столько фантазий нагородили мы вокруг наших хлипких детских личностей, что они получились до неузнаваемости бесшабашными и развеселыми. Уж мы-то мастера россказней на пару.

— Да, девчонки, хорошая у вас память, — говорит Фред Пауэлл, глядя на нас с восхищением, к которому примешивается что-то еще — опаска, смущение или даже неодобрение, — эти чувства частенько проявляются на лицах людей кротких и сдержанных, когда они наблюдают прыжки и ужимки своих любимых эстрадных артистов.

Теперь, вспоминая свое отношение к Фреду Пауэллу, должна признать, что моя реакция на такое — такое, я бы сказала, «положение вещей» — оказалась более здравой, чем я сама могла от себя ожидать. Это же ни в какие ворота! Я ведь даже не знаю, каково на самом деле истинное положение вещей. Знаю, что он женат, — Мэдди сообщила мне об этом в первый же вечер этаким будничным тоном. Жена у него — инвалид. Летом он отвозит ее на Озеро; со слов Мэдди, он очень заботливый муж. Я не знаю, любовники они с Мэдди или нет. А почему это должно меня интересовать? Мэдди уже тридцать с гаком. Но я не могу не думать о том, как он сидит у нас на крыльце, безвольно уронив руки на колени и вытянув ноги, и как его мягкое полное лицо чуть ли не снисходительно поворачивается к Мэдди, когда она говорит. У него приветливое, чисто мужское выражение на лице, как будто

он заинтересован, но не слишком впечатлен. И Мэдди задирает его, обзывает толстяком, отказывается курить его сигареты, вовлекает в нервные, переходящие на личности пикировки — бессмысленные и бесконечные. Он ей потакает. (Именно этого я боюсь. Теперь-то я знаю: он потакает ей. *Она в этом нуждается.*) Будучи слегка навеселе, Мэдди притворно-жалостно говорит, что он — ее единственный верный друг. «Мы с ним говорим на одном языке, — говорит она. — Как никто больше». Я не знаю, что ей ответить на это.

И снова меня одолевают сомнения: только ли друг он ей? Я уже забыла, что жизнь в Джубили полна всяких ограничений, и это усиленно поддерживает растиражированную в дешевых романах репутацию маленьких городков, и еще я забыла, какая крепкая, порядочная, лишенная открытой сексуальности дружба может расцвести на почве этих ограничений и питаться ими, так что в конце концов эти отношения могут поглотить полжизни. Мысль об этом расстраивает меня (чьи-то бесплодные отношения, наверное, посторонних расстраивают сильнее, чем самих участников), надо же, как сильно я хочу, чтобы они стали настоящими любовниками.

Жизненный ритм в Джубили напрямую зави-

сит от времени года. Зимой хоронят — летом гуляют свадьбы. Весьма резонно: зимы у нас долгие, полные трудностей, а старые и больные не всегда справляются с ними. Прошедшая зима была сущим бедствием — такая случается раз в десять-двенадцать лет, и, глядя, как полопался асфальт на улицах, можно подумать, что город пережил маленькую бомбардировку И смерть рассматривается в ряду прочих огромных лишений, но рассматривается уже после — летом, когда самое время все обдумать и обсудить. Люди часто останавливают меня на улице, чтобы поговорить о моей матери. Это от них я услышала подробности ее похорон, какие цветы ей положили в гроб и какая в тот день стояла погода. И теперь, когда она умерла, я больше не чувствую, что, говоря: «Ваша мама», они наносят сознательный, коварный удар по моей гордости. А раньше чувствовала. При этих словах мне казалось, что все мое существо, вся эта претенциозная отроческая конструкция шатается и рушится.

А теперь, слушая, как они говорят о ней мягко и чинно, я осознаю, что она обрела свое место среди достояний и странностей этого города, став одной из его кратких легенд. Она добилась этого вопреки нам, как ни старались мы грубо

и изобретательно удержать ее дома, подальше от этой печальной славы — не ради нее, но ради самих себя, страдавших от унижения при виде ее закатившихся глаз, когда неожиданно случался временный паралич глазных мышц, при гортанном звучании ее искаженного голоса, чьи невразумительные высказывания нам приходилось переводить посторонним. Ее болезнь была столь экстравагантна в своих проявлениях, что нам все время хотелось громко извиняться (хотя при этом мы оставались непреклонными и бледными), как будто мы аккомпанируем некоему в высшей степени безвкусному действу. Наше уничтожающее самолюбие — как мы раздували его ярость, изображая друг перед другом дикие карикатуры на мать (нет, не карикатуры — она и сама была карикатурой, а мы лишь имитациями). Нам следовало отдать ее в дом престарелых — там бы к ней лучше относились.

Они мало говорили о Мэдди и о десятилетнем ее бдении у постели матери, наверное, щадили мои чувства, памятуя о том, что именно я сбежала, и вот подтверждение тому — двое моих детей, а Мэдди до сих пор одна, и у нее ничего не осталось — только этот наводящий тоску дом. Впрочем, не думаю — в Джубили не принято щадить чьи-то

чувства таким образом. И у меня решительно спрашивают, почему я не приехала на похороны? К счастью, у меня есть оправдание — снежная буря, из-за которой тогда на неделю прекратились все авиаперелеты, — потому что не знаю, приехала бы я или нет после письма Мэдди, в котором она так решительно настаивала, чтобы я не приезжала. Я остро чувствовала, что у нее есть право побыть наедине с этим, раз она так хочет, побыть одной после стольких лет.

После стольких лет. Мэдди была той, что осталась. Сначала она уехала в колледж, а потом уехала я. «Ты даешь мне четыре года, потом я дам тебе четыре года», — сказала она. Но я вышла замуж. Она не удивилась. Она обозлилась на меня, на мое ничтожное и бесплодное чувство вины. Она сказала, что всегда и хотела остаться. Сказала, что мать перестала быть ей «обузой».

— Наша готическая мать, — сказала она, — я теперь тоже под нее подлаживаюсь. А знаешь, я перестала ее очеловечивать. Ну, ты понимаешь.

Было бы слишком большим упрощением сказать, что Мэдди была религиозна, что она испытывала радость, принося себя в жертву, мощное мистическое очарование полного самоотречения. Кто бы мог подумать, что Мэдди

— наша Мэдди — на такое способна? Когда мы были подростками и наши старые тетки — тетя Энни и тетушка Лу — рассказывали нам о неких преданных сыновьях или дочерях, посвятивших себя своим страждущим родителям, Мэдди непочтительно возражала им, цитируя мнения современных психиатров на этот счет. И все же она осталась. Все, что я могу придумать, все, что когда-либо была в состоянии придумать, чтобы успокоить себя: она смогла — и, может быть, она это сознательно выбрала — жить вне времени, в мире идеальной мнимой свободы, как это делают дети, в мире, где будущее безгранично и всегда возможен любой выбор.

Чтобы сменить тему: меня спрашивают, каково это — вернуться в Джубили после стольких лет разлуки. Но я не знаю, я все жду, когда кто-нибудь скажет мне, убедит меня в том, что я вернулась. В тот день, когда я ехала из Торонто с двумя детьми на заднем сиденье автомобиля, я была уже совершенно без сил, выбравшись на финишную прямую путешествия в две с половиной тысячи миль. Мне пришлось следовать сложной системе дорог и развилок, ибо не было в Джубили прямого пути ни из одной точки земного шара. И вот около двух часов дня я увидела прямо перед собой такой

знакомый и нежданный, такой яркий, выскобленный купол городской ратуши, не имевший ничего общего со всеми прочими — прямолинейными, неряшливыми серо-краснокирпичными — образчиками городской архитектуры. (Под куполом был привешен колокол, дабы возвестить при случае о какой-нибудь мифической катастрофе.) Я доехала до главной улицы — новая станция техобслуживания, наново оштукатуренный фасад «Квинс-отеля» — и повернула на тихую ветшающую боковую улочку, населенную старыми девами, с купальнями для птиц и синим шпорником в каждом саду. Знакомые с детства большие кирпичные дома с деревянными верандами и рассохшимися зарешеченными темными окнами казались мне правдоподобными, но ненастоящими. (Всякий, кому бы я ни пожаловалась на дремотное, засасывающее впечатление от этих улиц, отсылает меня в северную часть города, где новая фабрика безалкогольных напитков, новые дома в деревенском стиле и ресторан быстрого питания.) Потом я припарковалась в клочке тени напротив своего бывшего дома. Маргарет, моя дочурка, спросила равнодушно, хотя и с ноткой недоверия:

— Мама, это и есть твой дом?

И я почувствовала, что устами моего младенца глаголет полное разочарование, с которым, что характерно, дочка смирилась, причем смирилась *заранее.* В ее голосе отразилась вся скука и странность момента, когда перед ней предстал источник стольких легенд, неприглядная, повинно-понурая и неумолимая реальность. Красный кирпич, из которого некогда были сложены стены этого дома, казался шероховатым и раскаленным от солнца, в двух или трех местах криво ухмылялись длинные трещины, веранда, которая и так всегда выглядела хлипкой декорацией, теперь явственно накренилась. Там было — и сейчас еще есть — маленькое подслеповатое оконце из цветного стекла, возле самой входной двери. Я сидела, уставившись на него, растерянная тем, что не находила в себе ни малейшего эмоционального отклика, узнавания. Я сидела, глядя на дом, и ни одна занавеска не шелохнулась, не распахнулись двери, никто не появился на веранде. В доме не было ни души. Ничего удивительного, ведь я знала, что Мэдди с некоторых пор устроилась на работу в контору городского клерка, но я не ожидала, что у дома будет такой замкнутый, голый, изможденный вид просто потому, что в нем никого нет. И пока я шла через дворик к крыльцу,

меня вдруг осенило, что после стольких лет на побережье я совершенно забыла эту чудовищную континентальную жару, когда кажется, что все пылающие небеса свалились тебе на голову.

На двери была приколота записка, в которой несколько небрежный и вычурный почерк Мэдди сообщал: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДОРОГИЕ ГОСТИ. ДЕТЯМ ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ, А С ТЕБЯ Я СПРОШУ ПОЗЖЕ (ПОЖАЛЕЕШЬ), РАСПОЛАГАЙТЕСЬ». В передней на столике нас встречал букет розовых флоксов, их густым ароматом был пропитан жаркий летний послеобеденный воздух в этом закрытом доме.

— Наверх! — сказала я детям и взяла за руки дочку и ее младшего братика, который всю дорогу проспал в машине, а теперь тулился ко мне и хныкал.

На верхней ступеньке я помедлила и повернулась, чтобы между делом поприветствовать отражение стройной, загорелой, привычно бдительной женщины, в которой безошибочно угадывалась Молодая Мать, чьи волосы, собранные в узел на макушке, открывали уже не такую плавную линию подбородка и бронзовую шею, с явным напряжением выраставшую из маленьких острых бугорков ключиц, — это зеркало в

передней, которое в последний раз, когда я в него смотрела, показывало мне заурядную симпатичную девушку с лицом гладким и невозмутимым, как яблоко, несмотря на панику и смятение в ее душе. Но не затем я повернулась. Я поняла, что жду, когда мама окликнет меня со своего дивана в столовой с опущенными из-за летнего зноя ставнями. Она лежит на этом диване, и пьет свои бесконечные чаи, и ест, не различая ни завтраков, ни обедов, ни ужинов, будто больное дитя, консервированные фрукты в маленьких вазочках и крошащиеся кусочки торта. Мне казалось, что стоит мне закрыть за собой дверь, как я тут же услышу мамин искореженный голос и почувствую, как тяжко мне собраться с силами, чтобы отозваться на этот голос, окликающий: «*Кто тут*?»

Я отвела детей в просторную комнату в задней части дома, которая раньше служила спальней нам с Мэдди. Тонкие, почти до дыр истлевшие белые занавески на окне, квадрат линолеума на полу, двуспальная кровать и туалетный столик, который мы с Мэдди использовали в старших классах вместо письменного стола, и шаткий гардероб с маленькими зеркалами на внутренней поверхности каждой дверцы. Я болтала с детьми,

а сама думала — но думала осторожно, не спеша — о том, в каком состоянии находился разум моей матери, когда она звала: «*Кто тут*?» Я позволяла себе услышать, как никогда не осмеливалась прежде, крик о помощи — нескрываемый, о, позорно нескрываемый, и надрывный, и молящий, который звучал в ее голосе. Крик повторялся так часто и, так уж сложилось, без всякого толку, что для нас с Мэдди он был всего лишь одним из домашних звуков, с которыми надо было что-то делать, чтобы не было хуже. «*Иди и займись мамой*», — говорили мы друг другу или: «*Я на минутку, надо заняться мамой*».

Это значило, что нам приходилось оказывать ей некоторые тривиальные и малоприятные услуги, в которых она постоянно нуждалась, или что нужно уделить пять минут на притворно-оживленную беседу, настолько бессовестно-небрежную, чтобы ни на миг ни словом, ни взглядом не выдать истинное положение вещей, ни единым проблеском жалости не ввергнуть ее в долгий и изнурительный период слез. Но вопреки отказу от жалости, слез все равно было не избежать. Так она нас побеждала, брала измором, принуждая — дабы утих этот ужасный звук — к неким пародиям на любовь. Но мы становились

все вероломнее, непробиваемые в своей холодной отрешенности. Мы спрятали от нее гнев, и нетерпение, и брезгливость, убрали все эмоции из нашего с ней общения — так, наверное, тюремщик прячет мясо от заключенного, чтобы ослабить его до смерти.

Мы велели ей читать, слушать музыку, наслаждаться сменой времен года и радоваться, что у нее не рак. И вдобавок пусть скажет спасибо, что не испытывает никакой боли, и это была правда, если только тюрьма не есть боль. А она требовала нашей любви всеми возможными способами, бесстыдно и бессмысленно, как ребенок. «Но как мы могли любить ее?» — пытала я себя в отчаянии, источники нашей любви не были неисчерпаемыми, предъявленные требования оказались слишком велики. Да и все равно ничего бы не изменилось.

— У меня все отняли, — говаривала она; говорила незнакомым людям, нашим друзьям, от которых мы безуспешно пытались ее изолировать, своим старым друзьям, которые изредка наносили виноватые визиты, говорила очень медленно замогильным голосом, невразумительным и не совсем человеческим, а нам приходилось переводить, что она сказала.

Подобная театральность унижала нас до смерти, хотя теперь я считаю, что, если бы не этот ее эгоизм, который упрямо подкармливался даже во время катастрофы, она давно уже погрузилась бы в растительное состояние. Она блюла себя из последних сил, невзирая ни на кого и ни на что, без устали бродила по дому и по улицам Джубили. О нет, она не сдавалась, она, должно быть, рыдала и боролась в этой обители из камня (я могу это представить, но не стану), сражалась до последнего.

Но и это еще далеко не полная картина. Наша «готическая мать», черты лица которой болезнь Паркинсона навсегда сковала отталкивающей холодной маской, шаркающая, плачущая, пожирающая все внимание, какое только могла добыть, ее глаза, мертвые и горящие, смотрящие куда-то вглубь себя, — это еще не все. Потому что недуг развивается причудливо и неторопливо. Иногда по утрам (с каждым разом все непродолжительнее и все реже) ей становится лучше. Она выходит во двор, возится в огороде — так просто и по-хозяйски, она разговаривает спокойно и отчетливо, она внимательно слушает новости. Пробудившись от дурного сна, она пытается наверстать упущенное время, она наводит чистоту

в доме, она садится за швейную машинку, заставляя трудиться свои скованные трясущиеся руки. Она готовит для нас одно из своих фирменных блюд — банановый торт или лимонный бисквит с меренгами. С тех пор как она умерла, я вижу ее во сне время от времени (при жизни она никогда мне не снилась), мне снится, как она печет пироги, и я думаю: «Зачем же я делала из мухи слона, вот же — все у нее нормально, только руки дрожат…»

Под конец этих периодов затишья на нее вдруг накатывала опустошительная энергия, речь ее становилась все более напористой и все менее осмысленной, она требовала, чтобы мы накладывали ей макияж, укладывали волосы, иногда она даже нанимала портниху, и та шила ей одежду, сидя в нашей столовой под присмотром матери, которая снова все больше и больше времени проводила на диване. Это была дорогая и ненужная с практической точки зрения затея (зачем ей эти обновы, куда она в них пойдет?), затея ужасно нервная, потому что портниха не могла понять, чего мать от нее хочет, а иногда даже мы не понимали этого. Помню, как после моего отъезда я получала от Мэдди множество занятных, противоречивых, полных тихого бешенства писем об

этих визитах портнихи. Я читала их с симпатией, но не имея возможности погрузиться в такую знакомую атмосферу безумия и разочарования, которую создавала мать своими требованиями. В нормальном мире я не могла воссоздать в памяти ее образ. Ее портрет, запечатленный в моем сознании, был слишком пугающим, нереальным. Точно так же и постоянное напряжение, которое мы испытывали, живя рядом с ней, ощущение истерики, которую мы с Мэдди когда-то изливали в приступах гомерического хохота, — теперь это ощущение меркло, становилось почти нереальным, я чувствовала, как исподволь начинается мое тайное, преступное отчуждение.

Какое-то время я оставалась с детьми в комнате, потому что это было чужое для них место, просто еще одно незнакомое место, где им приходится спать. Глядя на них в этой комнате, я думала, до чего же им повезло, что у них такая простая и беспечальная жизнь, все родители, наверное, думают так время от времени. Я заглянула в шкаф, но он был пуст, на крючке одиноко висела шляпка, украшенная цветами из магазинчика «Все от пяти до десяти», которую кто-то из нас соорудил на каком-то из пасхальных конкурсов. Я выдвинула ящик туалетного столика и увидела

ворох листков, вырванных из блокнота. Я прочитала: «Утрехтский мир (1713 г.) положил конец войне за испанское наследство». Меня как молния пронзила — это же мой почерк! Как странно, эти листки пролежали здесь лет десять, даже больше, а мне казалось, что слова эти написаны только что.

Почему, не знаю сама, эти слова так сильно подействовали на меня, я почувствовала, как будто прежняя жизнь простерлась вокруг, ожидая, что ее снова подберут. Только там, в нашей старой спальне, это чувство охватило меня на несколько мгновений. Коричневые стены в коридорах нашей старой школы (теперь ее уже снесли) снова расступились передо мной, и я вспомнила весенний субботний вечер, когда только-только стаял снег и в город нахлынули деревенские жители. Вот мы прохаживаемся туда-сюда по главной улице под руку с двумя-тремя другими девчонками, пока не стемнеет, а потом идем танцевать в заведение «У Эла» под гирляндами цветных лампочек. В открытые окна струится сырой воздух, пахнущий землей и рекой, руки парней с ферм мнут и пачкают наши белые блузки, когда мы танцуем. И вот теперь это воспоминание, которое со временем истерлось (по

правде сказать, заведение «У Эла» было довольно мрачным, а все эти наши «ходки» по главной улице, дабы продемонстрировать себя, казались нам вульгарными и грубыми, но мы все равно не могли от них отказаться), трансформировалось в нечто на удивление значительное для меня, нечто завершенное, оно охватило не только танцы и не одну-единственную улицу, а весь город, его рудиментарный узор улиц, и голые деревья, и слякотные дворики, только освободившиеся от снега, и фары автомобилей, трясущихся в город по грязной дороге под огромными блеклыми потеками неба.

И еще: мы надевали балетки, пышные черные юбки из тафты и короткие жакеты бирюзового, вишневого или канареечного цвета. Мэдди повязывала на шею громадный траурный бант, а волосы ее украшал венок из искусственных ромашек. Такова была тогдашняя послевоенная мода, ну или нам так казалось. Эх, Мэдди… Сияющий скептический взгляд… Сестрица моя…

Я спрашиваю ее:

— Мэдди, а ты помнишь, какой она была до того?

— Нет, — отвечает Мэдди, — не помню.

— А мне иногда кажется, что я могу ее вспом-

нить до болезни, — говорю я неуверенно. — Не очень часто.

Трусоватая мягкотелая ностальгия так и норовит смягчить суровую правду.

— Видимо, тебе стоило побыть вдалеке от нас, — говорит Мэдди, — стоило побыть вдалеке — не так уж и долго, всего несколько последних лет, — ради таких вот воспоминаний.

Тогда-то она и сказала: «Только без экзорцизма!»

И добавила только одно:

— Она подолгу разбирала и сортировала разные вещи. Самые разные. Поздравительные открытки, пуговицы, катушки и мотки ниток. Перебирала и раскладывала их по кучкам. Она могла целый час безмятежно предаваться этому занятию…

II

Я в гостях у тети Энни и тетушки Лу. Это уже в третий раз, с тех пор как я дома, и снова они весь день шьют коврики из разноцветных лоскутков. Они уже совсем старенькие. Сидят на жарком крылечке под сенью бамбуковых штор, а вокруг них разбросаны лоскутные коврики — готовые и недошитые, создавая уютный домашний бес-

порядок. Они уже давно никуда не выходят, но встают с петухами, умываются и румянятся, надевают мешковатые цветастые платья, обшитые белой волнистой тесьмой. Они варят овсянку, пьют кофе и принимаются за уборку: тетя Энни прибирается наверху, а тетушка Лу — внизу. Дом у них чист, сумрачен и отполирован до блеска, он пахнет уксусом и яблоками. После полудня они ложатся вздремнуть на часик, а потом переодеваются в платья с брошками на воротничках и усаживаются за рукоделие.

Они из той породы женщин, чьи тела тают, каким-то таинственным образом усыхают от старости. Волосы у тетушки Лу до сих пор еще темные, но кончики у них чахлые и спутанные, как высохшие кукурузные рыльца. Она сидит очень прямо, точно и неторопливо двигая тонкими руками, она похожа на египтянку — длинная шея, узкое, изрезанное морщинами личико, потемневшая кожа. Тетя Энни — возможно, благодаря своим мягким, в чем-то даже кокетливым манерам — кажется по-человечески более хрупкой и увядшей. У нее почти не осталось волос, и поэтому она носит на голове чепчик — из тех, что молодые хозяюшки надевают на ночь поверх бигуди. Она сама обратила на него мое внимание

и спросила, не кажется ли мне, что чепчик ей не идет. Они обе искусно владели самоиронией и получали кроткое наслаждение, подтрунивая над собой. Общаясь друг с другом, они веселились от души, а их диалоги превращались в забавную чреду взаимных поддразниваний и пикировок. В моем воображении возникает сценка, я представляю себе нас с Мэдди — состарившихся, снова опутанных паутиной сестринства после того, как все остальное исчезло: вот мы угощаем чайком некую молодую и любимую, но, по сути, незначительную родственницу, демонстрируя при этом такие вот рафинированные взаимоотношения. Что тогда вообще будут знать о нас? Наблюдая за тем, как прикидываются мои тетки, я спрашиваю себя, неужели старики разыгрывают перед нами эти условные, немудрящие роли, потому что опасаются испытывать наше терпение чем-то более искренним? Или из деликатности — чтобы скоротать время встречи, а на самом деле они настолько далеки от нас, что и вовсе невозможно найти точки соприкосновения между нами.

Во всяком случае, я чувствовала, что они не подпускают меня к себе, по крайней мене до этой, третьей по счету, нашей встречи, когда они вдруг на моих глазах всерьез выказали явные признаки

разногласий. Уверена, что это случилось с ними впервые. Я никогда не видела, чтобы они спорили, за все те годы, что мы с Мэдди навещали их, а мы навещали их не только из чувства долга, нам необходимо было окунуться в атмосферу здравого смысла и надежности после той относительной анархии на грани мелодрамы, которая царила у нас дома.

Тетя Энни сказала, что хочет показать мне кое-что наверху. Тетушка Лу запротестовала, вид у нее был отстраненный и обиженный, словно речь шла о чем-то постыдном. А в этом доме принято говорить недомолвками и обиняками, для меня немыслимо даже спросить, что же все-таки они имеют в виду?

— Ох, дай ты ей хоть чая попить, — сказала тетушка Лу, а тетя Энни ответила:

— Ну ладно. После того, как *попьет.*

— Делай, как знаешь. Там наверху жара.

— Ты пойдешь с нами, Лу?

— А за детьми кто присмотрит?

— О, дети! Я совсем забыла о них.

И вот мы с тетей Энни удалились в более темную часть дома. Мне почему-то в голову пришла дикая мысль, что она сейчас даст мне пятидолларовую купюру. Я помню, как время от времени

она вот так же таинственно отзывала меня в переднюю и открывала сумочку. Думаю, в эту тайну тетушка Лу тоже не посвящалась. Впрочем, мы пошли наверх, в спальню тети Энни — такую опрятную и целомудренную на вид, с этими застенчивыми обоями в цветочек и белыми салфеточками на комодах. Было действительно очень жарко, как и предупреждала тетушка Лу.

— Так вот, — сказала чуть запыхавшаяся тетя Энни и открыла шкаф. — Сними-ка мне вон ту коробку с верхней полки.

Я достала коробку, она ее открыла и произнесла с улыбкой заговорщицы:

— А вы-то, наверное, все гадаете, куда девалась вся одежда вашей матери?

Такого я не ожидала. Я осела на кровать, забыв, что кровати в этом доме не предназначены для сидения, в каждой спальне для этой цели имелся один стул с прямой спинкой. Тетя Энни не одернула меня. Она принялась вытаскивать вещи, приговаривая:

— Мэдди, небось, о них и словом не обмолвилась, да?

— Я ее никогда не спрашивала, — сказала я.

— Я тоже. И не собираюсь. Я Мэдди и словечка не скажу. Но я подумала, что должна тебе пока-

зать. А почему бы и нет? — сказала она. — Мы все выстирали и отутюжили, что могли, а что не могли — сдали в химчистку. Я сама за все и заплатила. А потом мы заштопали, где порвалось. Смотри, какое все хорошее, видишь?

Я растерянно смотрела, как она предъявляет мне белье, которое лежало сверху. Она отчитывалась, что в каком месте было аккуратно и умело починено, где заменили резинки. Показала мне комбинацию, по ее словам «всего разочек надетую», вытащила на свет божий ночные рубашки, халаты, вязаные спальные кофты.

— В этом она была, когда я видела ее в последний раз, — сказала она. — Да, это она, точно.

Я с тревогой узнала персикового цвета ночную кофту, которую сама же прислала матери на Рождество.

— Видишь, оно все почти не ношенное. Да вообще не надеванное почти.

— Да, — ответила я.

— А дальше внизу — ее платья.

Тетины руки перебирали ворох парчи и цветные шелка, с каждым годом все более экзотические, в которые наряжалась мать. Даже тетю Энни, похоже, смущали эти попугайские цвета. Она вытащила какую-то блузку:

— Я ее вручную простирнула, она как новенькая теперь. Тут в шкафу еще пальто висит. Очень хорошее. Она вообще не носила пальто, только когда уезжала в больницу, и все. Может, тебе погодится?

— Нет, — сказала я. — Нет, — повторила я, потому что тетя уже направилась к шкафу. — Я только что купила новое пальто. У меня их несколько. Тетя Энни!

— Но зачем же тратиться, покупать, — кротко настаивала тетя Энни, — когда тут столько вещей, и почти новых.

— Я лучше куплю, — холодно сказала я и немедленно пожалела об этом. Тем не менее я продолжила: — Если мне что-то нужно, я иду и покупаю.

Намек на то, что я больше не бедна, вызвал на лице тети выражение упрека и отчуждения. Она ничего не ответила. Я отошла и уставилась на фотографию тети Энни, тетушки Лу, их старшего брата, отца и матери, висевшую над письменным столом. На меня осуждающе смотрели суровые протестантские лица, ибо я воспротивилась простому и непривлекательному материализму, который был краеугольным камнем их жизни. Вещи должны носиться, пока не сносятся, а затем

их следует заштопать, перелицевать, перешить во что-то другое и снова использовать, одежду следует носить. Я чувствовала, что оскорбила чувства тети Энни, и, более того, я, наверное, подтвердила прогноз тетушки Лу, бывшей более чувствительной к определенным веяниям, которые для тети Энни были слишком утонченными, и, скорее всего, тетушка Лу предупреждала, что я не стану носить одежду своей матери.

— Она ушла так неожиданно рано! — сказала тетя Энни. Я удивленно обернулась, и она прибавила: — Мама твоя.

И тут я подумала, что не в одежде дело. Похоже, это было только вступление к разговору о маминой смерти, который тетя Энни считала неотъемлемой частью моего визита. Тетушка Лу, напротив, испытывала чуть ли не суеверную неприязнь к некоторым чрезмерно душещипательным ритуалам, поэтому никогда не заводила подобных разговоров.

— Через два месяца после того, как ее положили в больницу, — сказала тетя Энни, — всего через два месяца она умерла.

Я увидела, что она неудержимо плачет стариковскими скупыми слезами. Она вытащила из складок платья платочек и промокнула глаза.

— Мэдди сказала ей, что это только обследование, — сказала она. — Мэдди обещала, что это всего на три недели, — зашептала она, словно боясь, что кто-то подслушает. — Как ты думаешь, хотела ли твоя мама быть там, где ни одна душа не понимает, что она говорит? И они не разрешали ей вставать с постели. Она так хотела вернуться домой!

— Но она была слишком больна, — сказала я.

— Нет, не была, все у нее было как всегда, просто понемногу со временем становилось чуточку хуже. Но, попав туда, она почувствовала, что умрет, все как-то закрылось для нее, и она так быстро угасла.

— Наверное, это случилось бы все равно, — сказала я. — Может быть, просто время пришло.

Тетя Энни и бровью не повела.

— Я навещала ее, — сказала она. — Она так рада была меня видеть, я же могла объяснить, что она говорит. «Тетя Энни, — сказала она, — они ведь не навсегда заперли меня здесь, да?» И я сказала ей: «Нет». Я сказала: «Нет». А она: «Тетя Энни, скажи Мэдди, пусть заберет меня домой, а то я здесь умру». Она не хотела умирать. Ты же не считаешь, что человек должен умереть только потому, что всем вокруг кажется, будто продолжение его

жизни не имеет никакого смысла? И я сказала Мэдди. Но она ничего не ответила. Она каждый день ходила в больницу к матери, но не забирала ее. Твоя мама сказала мне, что Мэдди сказала ей: «Я не заберу тебя домой».

— Мама не всегда говорила правду, — сказала я, — ведь вы же знаете, тетя Энни.

– *А ты знаешь, что ваша мать сбежала из больницы*?

— Нет, — сказала я.

Странно, но я совсем не удивилась, только ощутила смутный ужас, тоскливое сосание под ложечкой, лучше бы она мне не говорила. Но подспудно я и так знала все, что она мне сказала только что. Я всегда это знала.

— А Мэдди, разве она тебе не рассказала?

— Нет.

— Но так и было. Она *сбежала.* Вышла через боковую дверь, куда «скорая» подъезжает, — это единственная дверь, которая не запирается. Это случилось ночью, сиделок было мало, присматривать некому. Ей выдали халат и тапочки, впервые за долгие годы она что-то надела на себя. И она ушла, а стоял январь, падал снег, но она не вернулась. Когда ее хватились, она уже была в конце улицы. После этого поперек ее кровати

установили доску.

Снег, халат и тапочки, доска поперек кровати. Мое воображение изо всех сил противилось этой картинке. Но все же сомнений у меня не было: она подлинная и все случившееся — истинная правда. Она бы именно так и сделала, вся ее жизнь, сколько я ее помню, вела к этому побегу.

— А куда она шла? — спросила я, зная, что ответа не будет.

— Не знаю. Наверное, не надо было тебе рассказывать. Ох, Хелен, когда ее нашли, она пыталась убежать! Она пыталась *бежать*!

Побег, который касается всех. Даже тетино, такое знакомое и милое лицо скрывало внутри другую, более примитивную старуху, способную запаниковать там, куда ее вера никогда не заглядывала.

Она принялась аккуратно сворачивать вещи и складывать обратно в коробку.

— Поставили поперек ее кровати доску. Я сама это видела. Сиделки не виноваты. За всеми не уследишь. Где им взять столько времени?.. Я сказала Мэдди после похорон: «Дай бог, чтобы с тобой такого никогда не случилось». Просто не смогла удержаться и сказала.

Она сама теперь села на кровать и аккуратно

складывала вещи в коробку, с усилием пытаясь унять дрожь в голосе, и очень скоро ей это удалось, ведь недаром же она столько лет прожила на свете, кому, как не ей, уметь справиться и с горем, и с собой?

— Мы думали, что это было очень тяжело, — произнесла она наконец. — Мы с Лу обе так думали.

Неужели в том и заключается последняя функция старого человека, помимо плетения ковриков и одаривания нас пятидолларовыми купюрами, — убедиться в том, что муки совести, которые нам полагаются по договору, останутся с нами — и никто не отвертится?

Она боялась Мэдди — боялась и потому отвергла ее навсегда. Я вспомнила слова Мэдди: «Никто не говорит на том же языке».

Когда я вернулась домой, Мэдди на кухне готовила салат. Она сбросила туфли на высоких каблуках и стояла босиком в квадратиках света, падавшего на обшарпанный линолеум. Кухня была просторная, не слишком убранная, но приятная, за плитой и сушилкой для полотенец открывался вид на покатый задний двор, вдалеке виднелась железнодорожная станция и золотая заболоченная река, которая почти окольцовыва-

ла городок Джубили. Дети, которые чувствовали себя немного стесненно в чужом доме, тут же устроили себе игрища под кухонным столом.

— Куда вы ходили? — спросила Мэдди.

— Да никуда. Тетушек повидали.

— А, ну и как они там?

— Хорошо. Время им нипочем.

— Да? Думаю, так и есть. Я у них давно не была. Вообще-то, теперь я нечасто их вижу.

— Правда? — спросила я, и она поняла, что они мне все рассказали.

— После похорон они стали слегка действовать мне на нервы. А тут Фред устроил меня на эту работу, и вообще я закрутилась… — Она взглянула на меня, ждала, что я скажу, и улыбалась чуть кривовато, болезненно.

— Не кори себя, Мэдди, — сказала я мягко.

Дети с визгом мотались туда-сюда, вертелись у наших ног.

— А я и не корю! С чего ты это взяла? Я ни в чем не виновата! — Она подошла к приемнику и повернула ручку, бросив мне через плечо: — Фред пообедает с нами сегодня, он ведь опять холостякует. У меня есть немножко малины на десерт. Малина в этом году уже почти кончилась. А как они тебе? Хорошо выглядят?

— Хорошо, — сказала я. — Хочешь, я доделаю салат?

— Отлично, а я принесу салатницу.

Она вышла в столовую и вернулась, неся в руках салатницу из розоватого граненого стекла.

— Я больше так не могла. Я тоже хотела жить.

Она стояла на порожке между кухней и столовой и вдруг упустила из рук салатницу — то ли руки задрожали, то ли она ее с самого начала некрепко держала. Массивная, искусно сделанная старинная салатница выскользнула у Мэдди из рук и, как ни старалась та подхватить ее, грохнулась об пол.

Мэдди захохотала.

— Что за бес! — сказала она. — Что за бес-толочь я, Хелен, — произнесла она одно из наших старинных дурацких ругательств-заклинаний. — Посмотри, что я наделала. Да еще и босиком. Принеси мне веник.

— Это твоя жизнь, Мэдди, только твоя. Живи своей жизнью.

— Да, я так и сделаю, — сказала Мэдди, — так и сделаю.

— Уезжай, не оставайся здесь.

— Я так и сделаю.

Она наклонилась и стала подбирать осколки

розового стекла. Дети стояли в сторонке, гладя на нее со священным ужасом, а она засмеялась и сказала:

— У меня еще целая полка хрусталя. На мой век хватит. Хватит хлопать глазами, дай мне веник, наконец!

Я обошла кухню в поисках веника, потому что, кажется, напрочь забыла, где его место, а она вдруг спросила:

— Но почему я не могу, Хелен? *Почему я не могу*?

Танец блаженных теней

Мисс Марсаллес снова устраивает вечеринку. (Видимо, душа ее так дерзновенно жаждет праздника, что она никогда не называет это сугубо музыкальное мероприятие концертом.) Мама у меня не слишком-то находчивый и убедительный враль, даже путной отговорки придумать не может. «Художники приедут». «Друзья из Оттавы». «Бедной Керри удаляют гланды». Под конец все, что она способна выдать: «О, но не будет ли эта затея для вас слишком хлопотной *теперь*?» У этого *теперь* солидный довесок из всяческих пренеприятных значений — выбирай на вкус. *Теперь*, когда мисс Марсаллес переехала из облицованного кирпичом домика на Банковой, где и так на последних трех вечеринках было не протолкнуться, в еще более тесное, если верить ее описанию, жилище на Бала-стрит (а вообще, где эта Бала-стрит?). Или *теперь*, когда старшая сестра мисс Марсаллес слегла после инсульта. Или *теперь*, когда и сама мисс Марсаллес — мама говорит, надо смотреть правде в глаза — просто-напросто стала совсем старенькой.

– *Теперь*? — уязвленно переспрашивает мисс Марсаллес, притворяясь озадаченной, а может, и вправду так оно и есть.

Разве хоть раз ее июньская вечеринка была кому-то в тягость, где бы и когда бы она ни состоялась? Ведь сейчас мисс Марсаллес не может позволить себе других развлечений (сколько мама помнит, это всегда было единственным ее развлечением, но прозрачный старческий голос мисс Марсаллес, голос неустрашимый и неутомимо-светский, порождает призраки званых чаепитии, танцевальных вечеров в узком кругу, домашних посиделок и доисторических семейных обедов). Дети огорчатся, да она и сама огорчилась бы не меньше, если бы вдруг пришлось обмануть их ожидания, говорит мисс Марсаллес.

«Гораздо больше», — произносит мама про себя, но вслух, конечно, она этого сказать не может. Она отворачивается от телефона, и глаза у нее такие сердитые, словно при виде грязи, которую она не в состоянии отмыть, — таково мамино особенное выражение жалости. И она обещает прийти. Ближайшие две недели мама еще будет строить призрачные планы, как бы отвертеться, но она уже знает, что пойдет туда.

Мама созванивается с Мардж Френч — она тоже бывшая ученица мисс Марсаллес, а ее близняшки до сих пор ходят на уроки фортепиано, — и, пособолезновав друг дружке, они договариваются идти и держаться вместе. Подруги вспоминают, как в прошлом году шел сильный дождь, и мокрые плащи лежали горой один на другом в крохотной прихожей, потому что повесить их было некуда, и на полу под зонтиками растекались темные лужи. Платьица у младших девочек истрепались в давке, окна в гостиной так и не открыли. У кого-то из малышей даже кровь из носу пошла год назад.

— Но тут не мисс Марсаллес виновата.

Обе безрадостно смеются.

— Да. Но раньше такого не случалось.

И ведь все правда — в том-то и дело. При мысли о вечеринках у мисс Марсаллес тебя охватывает чувство, которое трудно выразить словами, все просто из рук вон, и всякое может случиться. Бывает даже, что по дороге туда невольно задаешься вопросом: а приедет ли хоть кто-то еще? Печальнее всего было видеть на двух или трех последних вечеринках, как ширятся бреши в рядах завсегдатаев, учеников прошлых лет, чьи дети, похоже, единственное теперь пополнение в клас-

се мисс Марсаллес. Каждый год обнаруживаются все новые и значительные потери. Дочки Мэри Ламберт бросили музыку и Джоан Краймбл тоже своих не водит. Что это означает? — недоумевают мама и Мардж Френч, женщины, которые переехали в пригороды и беспокоятся, что они отстали от жизни, что инстинктивное умение поступать правильно их подводит. Уроки игры на фортепиано нынче не так важны, как были когда-то, и все это знают. Считается, что танцы более благотворно влияют на общее развитие ребенка, да и сами дети, во всяком случае девочки, похоже, совсем не против. Но как объяснишь это мисс Марсаллес, которая утверждает: «Музыка необходима всем детям. В сердце каждого ребенка живет любовь к музыке». И она свято верит, что умеет читать детские сердца, и в них она находит несметные сокровища благородных намерений и врожденной любви ко всему прекрасному. Легендарный, чудовищный обман, с помощью которого сентиментальность старой девы берет в ней верх над исконным здравым смыслом. Она беседует с детскими сердцами, и каждое сердечко для нее — святыня, а родитель — что он тут может сказать?

В прежние времена, когда занималась моя сест-

ра Уинифред, мисс Марсаллес жила в Роуздейле, именно там все и происходило. Это был узкий дом из малиново-красного в подпалинах кирпича, с угрюмыми декоративными балкончиками, ветвившимися из-под окон второго этажа. И хотя не было там ни флигелей, ни башен, но витал незримый дух дома-крепости — мрачного, надменного, поэтически-уродливого фамильного гнезда. Да и ежегодные вечеринки в Роуздейле проходили не так уж и плохо. Каждый раз возникала неловкая заминка в ожидании сэндвичей — просто кухарка сестер Марсаллес, не привыкшая к большим приемам, поворачивалась не слишком быстро, но зато ее долгожданные сэндвичи всегда были превосходны: куриное филе, рулетики со спаржей, полезная, всем знакомая принаряженная детская еда. Юные пианисты, как водится, играли кто нервно и сбивчиво, кто уныло и бесцветно, а кто совсем провально, но бодро, так что публика слегка оживлялась временами. Следует понимать, что мисс Марсаллес, из-за своего идеалистического отношения к детям, прекраснодушия или простодушия на их счет, оказалась никуда не годным педагогом, поскольку была совершенно не способна на критику: ее замечания были деликатны и почтительны, а дифирамбы вопиюще

незаслуженны, и только очень ответственный ученик мог в таких условиях добиться мало-мальски приличных результатов.

Но вообще само мероприятие в те дни было не лишено основательности, у него имелись свои традиции, свой собственный безмятежно-старомодный стиль. Все и всегда шло своим чередом. Мисс Марсаллес, нарумяненная и специально по этому случаю соорудившая на голове старинную куафюру, лично встречала гостей в прихожей с изразцовым полом и сумрачным запахом ризницы. Платье мисс Марсаллес — до самого пола, в сливовых и розовых разводах, сшитое, видимо, из антикварной мебельной обивки — приводило в трепет разве что самых маленьких учениц. И даже маячившая за ее спиной тень еще одной мисс Марсаллес — чуть старше, чуть шире, чуть мрачнее, о чьем существовании тут же забывали до следующего июня, — даже эта тень не казалась неуместной, хотя, конечно, как не поразиться тому, что на свете существует целых два таких лица: вытянутых и землистых, добрых и карикатурно-нелепых, с громадными носами и малюсенькими красноватыми и ласковыми близорукими глазами. В конце концов, наверное, сестрам очень повезло, что они так уродливы, то,

что они столько раз помечены, стало их защитой от жизни, *уму непостижимо*, до чего они были улыбчивы, и неуязвимы, и ребячливы. Они казались бесполыми, необузданными и нежными созданиями, причудливыми, но такими ручными в своем доме в Роуздейле, поодаль от времени со всеми его сложностями.

В комнате, где мамаши, кто на жестких диванах, кто на раскладных стульях, внимали «Цыганской песне», «Гармоническому кузнецу» и «Турецкому маршу» в исполнении своих чад, висел на стене портрет Марии Стюарт, королевы Шотландии, в бархате и тюлевой накидке на фоне Холирудского замка. Там же было несколько потемневших и размытых картин, запечатлевших исторические сражения, а еще — «Гарвардская классика»[10], чугунные каминные подставки для поленьев и бронзовый Пегас. Ни одна из матерей не курила, да и пепельниц не было. В этой комнате, в этой самой комнате когда-то выступали и они. Своим унылым, безликим стилем — шелковистая охапка пионов и спиреи, роняющих лепестки на рояль, была единственным

[10] Примечания: 10

Название антологии, состоящей из 51 тома классических произведений мировой литературы, выпущенной Гарвардским университетом под редакцией Ч. У. Элиота.

проявлением личности мисс Марсаллес, пусть и не слишком удачным, — эта комната одновременно тревожила и ободряла. Из года в год они оказывались здесь — деятельные моложавые женщины, нетерпеливо пробиравшиеся на своих машинах по стародавним улочкам Роуздейла, а до этого неделю сетовавшие на без толку потраченное время, на мороку с детскими нарядами и, самое главное, на ужасную скуку, но все равно их собирала вместе какая-то непостижимая верность — не столько мисс Марсаллес, сколько одному из обрядов детства, — верность более взыскательному образу жизни, который уже тогда давал трещины, но все же уцелел, невесть как уцелел в гостиной у мисс Марсаллес. Маленькие девочки в юбочках, застывших, словно колокола, с неподдельной торжественностью шествовали мимо темных стен из книг, а лица матерей изображали тусклое, не лишенное приятности снисходительное выражение с налетом абсурда и слегка наигранной ностальгии — вечной спутницы затянувшихся семейных ритуалов. Мамаши обменивались улыбками, которые вовсе не свидетельствовали о недостатке хороших манер, а лишь выражали знакомое шутливое изумление тому, насколько все как всегда: от концертного

репертуара до начинки для сэндвичей, — так они отдавали должное невероятной, фантастической жизненной стойкости сестер Марсаллес.

А после концерта маленьких пианистов ждала короткая церемония, которая всегда вызывала некоторое смущение. Прежде чем детям разрешали удрать в сад — по-городскому скромный, но все же сад — с изгородями, тенью и бордюром из желтых лилий, где стоял длинный стол, застланный гофрированной бумагой в младенческих розово-голубых тонах, на котором кухарка расставляла тарелки с сэндвичами, мороженым и красиво подкрашенным, но безвкусным шербетом, — так вот, до этого всем предстояло пережить церемонию вручения подарков по случаю окончания года: ученики по очереди подходили и получали из рук мисс Марсаллес сверток, перевязанный ленточкой. Никто не обольщался насчет этих свертков, разве что самые доверчивые новички. Все знали, что там книжка, но вот вопрос: где она откапывает подобные книженции? Такие букинистические издания теперь можно найти только в замшелых библиотеках воскресных школ, на чердаках или книжных развалах, но *эти* были в твердых переплетах, нечитаные, девственно-новые. «Северные реки и озера»,

«Где какая птица?», «Новые сказки Серой Совы», «Маленькие миссионеры». Еще мисс Марсаллес дарила нам картинки: «Спящий Купидон» и «Пробуждение Купидона», «После купания», «Маленькие дозорные». Почти каждая картинка являла нежную детскую наготу, которая нашему рафинированному ханжеству казалась ужасно стыдной и отталкивающей. Даже настольные игры, которые дарила мисс Марсаллес, оказывались скучными и ни на что не годными, перегруженными замысловатыми правилами, где в результате выигрывали все.

Наши мамы тоже испытывали неловкость, но их смущали не столько сами подарки, сколько сомнения в том, что мисс Марсаллес может их себе позволить. К тому же все помнили, что мисс Марсаллес только однажды за десять лет повышала плату за обучение (и даже тогда несколько родительниц вынуждены были отказаться от уроков). В конце концов, утешали они себя, у мисс Марсаллес непременно должны быть еще какие-то другие доходы. Конечно, ведь иначе она не жила бы в этом доме! И к тому же ее сестра тоже преподавала или уже не преподавала, но, уйдя на пенсию, подрабатывала частными уроками немецкого и французского — таково было

общее мнение. Им наверняка вполне хватает на двоих. Если вы — мисс Марсаллес, то запросы у вас нехитрые и жизнь обходится вам не так уж дорого.

Но потом не стало дома в Роуздейле, а с переездом в бунгало на Банковой все пересуды о денежных делах мисс Марсаллес сами собой утихли, этот аспект ее жизни переместился в область болезненных тем, обсуждать которые — верх неприличия.

— Если пойдет дождь, я умру, — говорит мама, — я умру на этом сборище от депрессии, если будет дождь.

Но в назначенный день дождя нет, наоборот — очень жарко. В этот горячий и пыльный летний день мы на машине отправляемся в город, чтобы заблудиться в поисках Бала-стрит.

Когда мы ее находим, она оказывается лучше, чем мы ожидали, но, скорее всего, потому, что на Бала-стрит растут деревья в отличие от улиц вдоль железнодорожной насыпи, по которым мы до нее добирались, — неряшливых и без намека на тень. Дома здесь из тех, что делятся на две половины, с покосившейся деревянной перегородкой посреди главного крыльца, парой деревянных ступенек и грязноватым двориком. Судя по всему,

в половинке одного из этих раздвоенных домов и обитает мисс Марсаллес. Все они из красного кирпича, парадные двери, ставни и крыльцо выкрашены бежевой, серой, оливковой и желтой краской. Все ухоженные и опрятные. В доме по соседству с тем, в котором живет мисс Марсаллес, расположился магазинчик, его вывеска гласит: «БАКАЛЕЯ И СЛАДОСТИ».

Дверь открыта настежь. Мисс Марсаллес втиснулась между входной дверью, вешалкой и лестницей, мы еле пробираемся мимо нее в гостиную, а уж о том, чтобы при таком раскладе попасть из гостиной наверх, не стоит и думать. Мисс Марсаллес в полной готовности: румяна, прическа и парчовое платье, на которое очень трудно не наступить. При свете дня она кажется ряженой — таким воспаленному пуританскому воображению рисуется фантастический образ лихорадочно распаленной куртизанки. Но в горячке только румяна. Глаза мисс Марсаллес, если подойти к ней поближе, все те же — улыбчивые и невозмутимые, в красных прожилках. Она целует нас с мамой, меня, как обычно, встречает так, будто мне едва исполнилось пять, и мы проходим в гостиную. Мне почудилось, что, целуясь с нами, мисс Марсаллес смотрела куда-то мимо,

ища взглядом в глубине улицы кого-то, еще не прибывшего.

В домике есть гостиная и столовая, разделенные распахнутыми дубовыми дверями. Совсем крошечные комнатки. Огромная Мария Стюарт на полстены. За неимением камина нет и каминных подставок, но фортепиано на месте и даже букет пионов и спиреи, бог весть из какого сада. Гостиная так мала, что выглядит полной народа, хотя в ней от силы человек десять, включая детей. Мама улыбается, перебрасывается с кем-то парой слов и садится.

— Что-то Мардж Френч задерживается, неужели тоже заблудилась в дороге? — говорит она мне.

Женщина, сидящая рядом, нам незнакома. Она немолода, ее платье из тафты со стразами благоухает химчисткой. Женщина представляется нам как миссис Клегг — соседка мисс Марсаллес, занимающая другую половину этого дома. Мисс Марсаллес предложила ей послушать выступления маленьких пианистов, и она с удовольствием согласилась, ибо любит музыку во всех ее проявлениях.

Мама отвечает, что очень приятно, но вид у нее чуть-чуть сконфуженный.

— А сестра мисс Марсаллес, видимо, наверху? — спрашивает она.

— Да, наверху. Она не в себе, бедняжка.

Мама говорит, что это очень плохо.

— Да, такая жалость. Я дала ей кое-что, чтобы она поспала после обеда. Знаете, у нее отнялась речь. И вообще она уже совсем беспомощна.

Мама, уловив в голосе собеседницы чреватое излишествами понижение интонации, соображает, что сейчас последуют многочисленные интимные подробности, и снова торопливо уверяет, как ей жаль.

— Я присматриваю за ней, когда ее сестра уходит на занятия.

— Это так великодушно с вашей стороны. Я уверена, что мисс Марсаллес вам очень признательна.

— О да мне просто жаль старушек. Они ведь как дети малые, как пара ребятишек.

Мама что-то бормочет в ответ, но она не смотрит на миссис Клегг, на ее пышущее здоровьем кирпичное лицо и забавную, как по мне, редину между зубами. Мама смотрит ей через плечо, в столовую, смотрит с хорошо контролируемой тревогой.

А видит она вот что: накрытый стол, на кото-

ром все готово к банкету, абсолютно все. Блюда с сэндвичами, похоже, расставлены уже несколько часов назад: если приглядеться, заметно, что верхние уже начали черстветь и заворачиваться по краям. Над столом жужжат мухи, они садятся на сэндвичи и вольготно расхаживают по тарелкам с маленькими пирожными из кондитерской. Хрустальная чаша, как всегда водруженная посреди стола, наполнена прокисающим пуншем, в котором явно не осталось ни кусочка льда.

— Уж как я уговаривала ее не готовить все заранее, — шепчет миссис Клегг, восторженно улыбаясь, как будто речь идет о причудах и шалостях упрямого дитяти. — Представляете, она с пяти утра делала сэндвичи. Не знаю, на что они теперь похожи. Наверное, боялась, что не успеет. Боялась что-нибудь забыть. Они терпеть не могут забывать.

— Пищу нельзя оставлять надолго в такую жару, — говорит мама.

— Ну, я думаю, мы не отравимся. Неудобно только, что сэндвичи подсохнут. Но когда она в полдень налила в пунш имбирного пива, я так хохотала. Это просто перевод продуктов.

Мама отодвигается и оправляет свою шифоновую юбку, будто внезапно осознав, что

недопустимо, да что там — просто гадко обсуждать в таком тоне приготовления хозяйки в ее же собственной гостиной.

— Мардж Френч нет, — говорит она мне твердеющим голосом, — а она обещала мне, что приедет.

— Я тут самая старшая, — недовольно морщусь я.

— Чш-ш. Значит, ты будешь играть последней. Ну, в этом году программа не слишком длинная, правда?

Миссис Клегг наклоняется к нам, груди ее источают теплое затхлое облако застоявшихся духов.

— Пойду проверю, не забыла ли хозяйка включить морозилку посильнее. А то она будет в ужасе, если все мороженое растает.

Мама пересекает комнату и что-то говорит своей знакомой, и я точно знаю, что именно: «Мардж Френч *обещала*, что *приедет*». На лицах женщин, накрашенных уже давно, сказывается и жара, и общая нервозность. Они спрашивают друг друга, когда же начало. Теперь уже скоро, по крайней мере, за последние четверть часа никто больше не появился. «Как подло поступили те, кто не пришел», — говорят они. Хотя в такую жару — а жара просто удушающая — это, наверное, наи-

худшее место в городе, и они почти понимают тех, кто не захотел прийти. Я оглядываюсь вокруг и вижу, что здесь нет никого из моих ровесников или хотя бы на год младше.

Малыши начинают играть. Мисс Марсаллес и миссис Клегг аплодируют им с большим энтузиазмом, мамаши с облегчением делают по два-три ленивых хлопка. Моя мама, похоже, вообще не в состоянии, несмотря на грандиозные усилия с ее стороны, отвести взгляд от накрытого стола и самодовольного полчища мух, кружащего над ним. Наконец мамин взгляд становится невидящим, отрешенным, он фокусируется на чем-то чуть выше чаши с пуншем, и, таким образом, голова ее может оставаться повернутой в этом направлении, и никто не догадается почему. Мисс Марсаллес тем временем тоже никак не может сосредоточить свое внимание на выступающих, она неотрывно смотрит на входную дверь. Неужели она надеется, что кто-то из отсутствующих ни с того ни с сего вдруг одумается и приедет? И в неизменной коробке возле фортепиано подарков больше, чем выступающих, — их куда больше, этих белых бумажных свертков, перетянутых серебряной тесьмой — не настоящей тесьмой, а лишь дешевой имитацией, которая рвется и

осыпается.

И вот, пока я сижу за фортепиано, исполняя менуэт из «Береники», они появляются — последние гости, никем не жданные, кроме мисс Марсаллес. Поначалу кажется, что произошла какая-то ошибка. Боковым зрением я вижу всю процессию: дети от восьми до десяти лет в сопровождении рыжеволосой женщины, одетой во что-то вроде форменного платья, по очереди взбираются на крыльцо. Все выглядит так, словно группа ребят из частной школы выбралась на экскурсию или еще куда (на них надето нечто одинаково серо-бурое), но двигаются они как-то слишком судорожно и беспорядочно. Или это лишь мое впечатление, я же толком ничего не вижу. Они точно не туда попали — наверное, к доктору шли на прививку или в летнюю библейскую школу? Нет, мисс Марсаллес поднимается и, на ходу шепча радостные извинения, устремляется им навстречу. За моей спиной слышится возня, толчея, стук раскладных стульев и кто-то хихикает — ну уж совсем некстати.

Но вокруг этой осторожной суматохи пришельцев повисла тишина. Что-то стряслось, что-то непредвиденное, какая-то катастрофа, которую затылком чуешь. А я все играю. Я заполняю

гробовую тишину своей на редкость корявой и неуклюжей интерпретацией Генделя. Встав из-за инструмента, я чуть не падаю, споткнувшись о кого-то из новых гостей, расположившихся прямо на полу.

Один из них — мальчик лет девяти-десяти — собирается сменить меня за пианино. Мисс Марсаллес берет его за руку и улыбается ему, и он не выдергивает руку, а она не качает смущенно головой, отрекаясь от этой улыбки. Как необычно. И мальчик тоже необычный. Садясь, он поворачивается к мисс Марсаллес, и она говорит ему что-то ободряющее. Он смотрит на нее, а мое внимание приковано к его профилю: тяжелые, недовершенные черты, несоразмерно маленькие косящие глаза. Я гляжу на детей, сидящих на полу, и вижу тот же профиль, повторяющийся дважды или трижды. Я вижу еще одного мальчика с очень крупной головой и светлым ежиком волос, мягких, как у грудничка. Там есть и другие дети — черты у них правильные, в их лицах нет ничего необычного, разве что младенческая открытость и умиротворенность. Мальчики одеты в белые рубашки и короткие серые штаны, а на девочках серо-зеленые хлопковые платья с красными пуговицами и поясками.

— Иногда они бывают очень музыкальны, — говорит миссис Клегг.

— Кто это? — шепчет мама, очевидно не замечая, сколько тревоги в ее голосе.

— Это ее класс из школы в Гринхилле. Они такие милашки, а некоторые довольно музыкальны, но сюда, конечно, пришли не все.

Мама рассеянно кивает. Она оглядывает комнату и натыкается на загнанные, тревожные глаза других женщин, но не находит в них ответа. И ничего не поделаешь. Эти дети будут играть! И они играют не хуже, не намного хуже, чем мы, но кажутся такими заторможенными, и вдобавок здесь совершенно некуда девать глаза. С одной стороны, конечно, невежливо разглядывать таких детей, но с другой — куда же еще смотреть во время игры на фортепиано, как не на пианиста? Обстановка в комнате напоминает прихотливый, затягивающий бред. И моя мама, и другие мамы чуть ли не вслух думают: «Да, я знаю, нехорошо отталкивать таких детей, я и не отталкиваю, но никто не предупредил меня, что я иду сюда слушать этих маленьких… маленьких дебилов, или кто они там. ДА ЧТО ТУТ ПРОИСХОДИТ, В САМОМ-ТО ДЕЛЕ?» Впрочем, аплодисменты матерей становятся более бурными, «ско-ре-е-бы-

все-это-кон-чи-лось» — хлопают они. Но до конца, видимо, еще далеко.

Мисс Марсаллес объявляет имя каждого ребенка, словно это повод для праздника. И вот она произносит:

— Долорес Бойл.

Девочка, такая же большая, как я, длинноногая, довольно худая и болезненная девочка с почти совершенно белыми волосами, распрямляется и встает с пола. Она усаживается на стульчик и, поерзав, отбрасывает за спину длинные волосы и начинает играть.

На вечеринках у мисс Марсаллес мы привыкли замечать исполнение, но нельзя сказать, чтобы кто-нибудь рассчитывал услышать музыку. Однако на этот раз музыка устанавливает свое главенство так непосредственно и легко и так мало претендуя на наше внимание, что мы не успеваем даже удивиться. Девочка играет что-то незнакомое: что-то хрупкое, изысканное и просветленное, дарящее свободу безграничного и бесстрастного счастья. И все, что эта девочка делает — подумать только, оказывается, такое возможно, — она просто играет, играет так, что ты это чувствуешь, ты чувствуешь все это даже здесь, в гостиной мисс Марсаллес на Бала-стрит,

в этот несуразный вечер. Дети притихли — и те, что из Гринхилла, и все остальные. Матери замерли, застигнутые врасплох с протестующим выражением на лице, в еще большем смятении, чем раньше, как будто им вдруг напомнили то, о чем они забывали вспомнить. Белобрысая девочка неуклюже сидит за фортепиано, повесив голову, и музыка летит сквозь открытые окна и двери на пепельно-пыльную летнюю улицу.

Мисс Марсаллес сидит рядом с пианино и, как всегда, улыбается всем сразу И нет в ее улыбке ни торжества, ни скромности. Она совсем не похожа на волшебника, вглядывающегося в лица людей, чтобы увидеть результат подлинного откровения. Казалось бы, теперь, когда на склоне ее жизни нашелся тот, кого она способна — и должна — учить игре на фортепиано, ей бы греться в лучах этого важного открытия. Но для нее, похоже, игра этой девочки — нечто само собой разумеющееся, естественное и удовлетворительное, то, чего она всегда ожидала. Те, кто верит в чудеса, принимают их без лишнего шума и суеты. Очевидно, что для старой учительницы эта девочка интересна так же, как и остальные дети из школы в Гринхилле, которые любят ее, и так же, как все прочие мы, ее не любящие. Для

нее всякий дар закономерен и ни один праздник не приходит нежданно.

Девочка заканчивает играть. Только что музыка была здесь, в этой комнате, а теперь ее нет, и, естественно, никто не знает, что на это сказать. Как только девочка снимает руки с клавишей, становится ясно, что это все та же ученица из гринхиллской школы. Но музыка нам не почудилась. С фактами не поспоришь. И все-таки несколько минут спустя выступление этой девочки, при всей его невинности, уже напоминает розыгрыш — да-да, очень удачный и забавный, но, как бы это выразиться, не очень *хорошего вкуса.* Ибо талант этого ребенка — бесспорный, но по большому счету бесполезный, неуместный — это вовсе не предмет для всеобщего обсуждения. Если для мисс Марсаллес такие вещи приемлемы, то для остальных людей в этом мире — нет. Тем не менее должны же эти люди что-то сказать, и они начинают хвалить музыку: мол, как она чудесна, до чего же красивая пьеса, кстати, как она называется?

— «Танец блаженных теней», — говорит мисс

Марсаллес. — *Danse des ombres heureuses*[11], — говорит она, оставляя всех в полном недоумении.

И все-таки по дороге домой, покидая раскаленные краснокирпичные улицы, покидая этот город, покидая мисс Марсаллес с ее вечеринками, теперь уже точно невозможными, оставляя все это, надо думать, навсегда в прошлом, почему мы не можем выговорить давно заготовленные слова, что мешает нам сказать: «Бедная мисс Марсаллес»? «Танец блаженных теней» не позволяет нам, та самая, единственная весть из иной страны — страны, в которой она живет.

[11] Примечания: 11

Отрывок из оперы Кристофа Виллибальда Глюка «Орфей и Эвридика» (1762), известный также под названиями «Мелодия» и «В полях Элизиума», акт II, сцена 2.